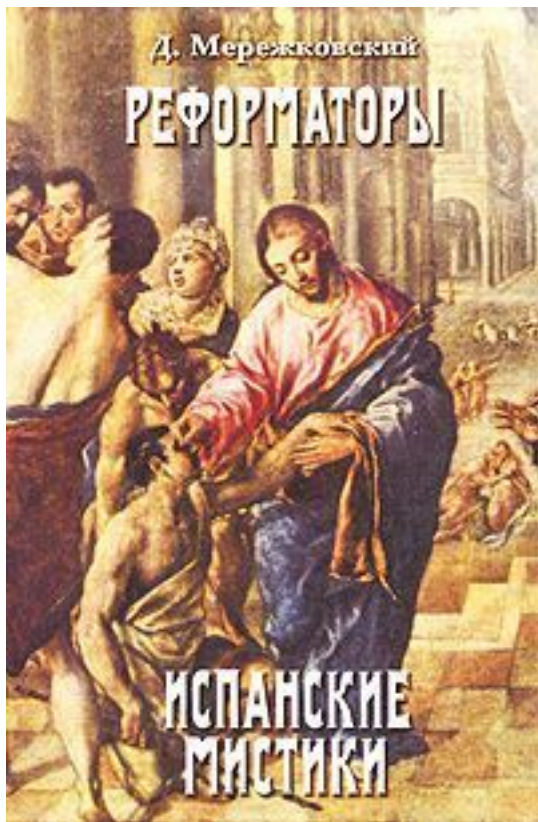


Д. Мережковский

РЕФОРМАТОРЫ



ИСПАНСКИЕ
МИСТИКИ

Дмитрий Сергеевич Мережковский

Св. Иоанн Креста

Серия «Испанские мистики», книга 2

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=175079*

Аннотация

В книгах «Реформаторы: Лютер. Кальвин. Паскаль» (1939-1940) и «Испанские мистики: Св.Тереза Иисуса. Св.Иоанн Креста. Маленькая Тереза» (1940-1941) Д.С.Мережковский подводит итог своим размышлениям о судьбах христианства в мире, как всегда тесно связывая события прошлых столетий с современностью. В первой трилогии речь идет о реформаторах «внешних», во второй – о «внутренних», чей мистический опыт, по мысли Мережковского, призван преобразить три мировые ветви христианской Церкви в Церковь Вселенскую.

Содержание

I. Св. Иоанн Креста <и мы>	6
1	6
2	10
3	14
4	18
II. Жизнь Св. Иоанна Креста	21
1	21
2	25
4	31
5	33
6	35
7	40
8	42
9	45
10	49
11	51
12	53
13	55
14	58
15	60
16	62
17	66
18	72

19	77
20	81
21	87
22 Одиночество	91
23	94
24	97
25 Новые гонения	100
26	104
27	108
28	111
III. Что сделал Иоанн Креста?	117
1 Критика мистики	117
2 Между Иллюминатством и Церковью	122
3	125
4 Тварь и Бог	129
5	133
6	136
7 Темная ночь	141
8	145
9	148
10	150
11	154
12	157
13 Светлый день	163
14	167
15	172

16

177

17

180

18

183

Дмитрий Сергеевич Мережков Св. Иоанн Креста

I. Св. Иоанн Креста <и мы>

1

Бог есть Личность, – этот религиозный опыт христианства и всего духовного движения, подводившего человечество к христианству, нужен, как никому, людям наших дней, когда бытию человеческой личности угрожает в тоталитарной государственности воплощенная, так как нигде и никогда в истории человечества, воля к Безличности.

Личность будь для человека
Высшим благом на земле.

Höchstes Glück der Erdenkinder
Sei nur die Persönlichkeit, —

это слово Гёте, и еще другое:

Никаких потерь не бойся, —
Только будь самим собой.

Alles könne man verlieren,
Wenn man bleibe, was man ist, —

Эти два слова, повторяемые, как звук повторяется отзывными гулами глубоких пещер в сердце у тех, кто, поминая ужас происходящего в мире сейчас – эти два остерегающие слова сказаны были, может быть, не случайно именно в той стране, где суждено было возникнуть наиболее убийственному для человеческой личности движению – тоталитаризм государственности в Германии; также не случайно, может быть, сказаны были те слова именно в первой четверти XIX века, когда началось духовное движение – антихристианство, которое не только Германию, но и почти всю Европу привело к этой Воле и Безличности и грозит привести к ней весь мир.

Можно ли уничтожить человеческую Личность так, чтобы свести ее к безличности не только муравья, но и зернышка паюсной икры, или даже единицы механических сил?

Если можно, то безличная государственность в своем насилии над личностью непобедима, а если нельзя, то рано или поздно в мире духовном произойдет нечто подобное тому, что произошло в мире физическом при «расщеплении атома»: взорвана будет стальная броня безличной государственности разрядом бесконечных сил, заключенных в ато-

ме неистребимой Личности, и чем крепче была сжимавшая ее борьба, тем сокрушительнее будет взрыв.

Если когда-нибудь люди устанут приносить бесчисленные жертвы Молоху государственности – сами кидаться и кидать других в его раскаленное докрасна, железное чрево, то вспомнят они религиозный опыт христианства – Бог есть Личность – и поймут, что ничем иным, кроме этого опыта, не может быть побеждена движущая сила тоталитарной государственности, огонь, раскаляющий чрево Молоха, – воля к Безличности.

И когда люди это поймут, то почувствуют, как единственно близок и нужен им тот человек, который, обнажая до последних глубин метафизические корни Личности, тот перво-зданный гранит, на котором Личность основана, это сделал так, как, может быть, никто никогда за две тысячи лет христианства. Этот человек – св. Иоанн Креста.

Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла... Кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит (Мт., 21, 42, 44).

Камень, отвергнутый строителями тоталитарной государственности, – Божественная Личность Христа, – и есть тот вечный гранит, на котором человеческая Личность непоколебимо основана. Лучше этого нельзя понять, чем по религиозному опыту св. Иоанна Креста: вот почему когда начнется освобождение человеческой Личности от государственно-

го насилия, то он будет нужнее людям, чем кто-либо.

Рано или поздно исполнится притча о злых виноградарях, потому что «небо и земля прейдут, а слова Его не прейдут».

Сына увидев, виноградары сказали друг другу: «Это наследник; пойдем, убьем его и завладеем наследством». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят Ему: «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои» (Мт., 21, 38–41).

«Сына выгнали вон из виноградника», значит исключили из всего строения человеческой жизни Божественную Личность Христа, а вместе с Нею – и личность человеческую; «Сына убили», значит убили или хотели бы убить Божественную Личность Христа, а вместе с Нею – личность человеческую. Но Отец придет и казнит убийцу Сына. Это в религиозном опыте св. Иоанна Креста предчувствуется так, что когда это начнется совершаться, то он будет опять-таки нужнее людям, чем кто-либо.

2

Самое личное из всех человеческих чувств – любовь, потому что только любящий видит в любимом то единственное и неповторяемое в вечности и потому драгоценнейшее, что делает возможного человека действительным, делая его личностью. Эта-то единственность человеческой личности и есть признак ее Божественности, потому что Бог един. Но Он же есть и Любовь: вот почему величайшее в мире явление Личности – Христос – есть и величайшее явление любви.

По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою (Ио., 13, 35).

Отче праведный! и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня... да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет и Я в них (Ио., 15, 12; 17, 25–26).

Самое личное чувство из всех человеческих чувств – любовь, а самая личная любовь – брачная, потому что во всякой другой личности только сближаются, но остаются разделенными в последних своих глубинах преградой плоти, а в брачной любви падает эта преграда, и личности входят друг в друга – соединяются, духовно-плотски. Полная Личность – не в духе и не в плоти, а в соединении духа с плотью: вот почему личность достигает полноты своей не в одном духовном и не в одном плотском, а в духовном и в плотском вме-

сте соединении брачной любви.

Но в религиозном опыте христианской мистерии брачная любовь – только малая, здесь, на земле, видимая зарница великой, невидимой, грозы; человеческий брак – только вещее знамение, символ того, чему в Елизвинских таинствах, на этой ближайшей к христианству вершине всего дохристианского человечества, дано то же имя, как и в христианской мистерии: *Теогамия*, *Богосупружество*. И это совпадение имени не случайно, если весь религиозный опыт человечества шел, идет и будет идти к этому и если, по слову св. Августина, «в мире всегда было то, что, после явления Христа во плоти, люди называли христианством», и если, по слову Шеллинга, «всемирная история есть эон, чье единственное содержание, причина и цель – Христос».

Высшая точка всего религиозного опыта св. Иоанна Креста есть «брак души человеческой с Богом», их «совершенное соединение в любви», «consumada unión de amor» (Bruno, 179).

О, ночь, меня ведущая,
Желаннее зари!
О, ночь, соединившая
Возлюбленную с Любящим!
О, ночь, преобразившая
Любимую в Любимого! (Авг., 232).

Эта «желанная ночь» и есть тайна Богосупружества.

В райский сад... Супруга вошла...
И, сколько хочет, покоится
В объятиях Любимого (Авг., 239).

«Супруга» – душа человеческая, и «Любимый» – Бог или Сын Божий. Вот почему и ап. Павел учит: «Будут двое одна плоть. Тайна сия велика; я же говорю о Христе и о Церкви» (Еф., 5, 31). Церковь – Невеста, а Жених – Христос. Так, на брачной, наиболее личной любви строится жизнь не только каждого человека в отдельности, но и всего человечества в Церкви – Граде Божиим и человеческом вместе, Божественном, в котором не уничтожается, как в тоталитарном государстве наших дней, а утверждается Личность.

«В брачном соединении души человеческой с Богом, – учит св. Иоанн Креста, – происходит между ними прямое касание Существа к Существо, – личности к Личности (Авг., 214). В Богосупружестве „достигается такое внутреннее (личное) соединение Существа Божия с человеческим, что каждое из них как бы становится Богом... и хотя здесь, на земле, не может произойти такое соединение во всей полноте, но оно все-таки выше всего, что ум человеческий может достигнуть“ (Авг., 219). Это и значит: весь путь человечества ведет к этой цели – Богосупружеству.

Крайнего напряжения достигает воля к Личности в наиболее личном и внутреннем, брачном соединении человека с Богом. Этот религиозный опыт переживает св. Иоанн Кре-

ста с такою силою, как, может быть, опять-таки никто за две тысячи лет христианства, кроме св. Бернарда Клервосского, св. Франциска Ассизского и ближайшей спутницы Иоанна, его ученицы и учительницы вместе, св. Терезы Иисуса. Знает Иоанн Креста, что в брачном соединении «Бог сообщает душе... страшную силу» (Авг., 215). Сила эта и есть та бесконечная, никаким насилием непобедимая сила человеческой Личности, которая взорвана будет, при «расщеплении атома» – Личности, безличная тоталитарная государственность наших дней. Вот почему, когда осуществляемая в христианстве воля к Личности начнет бороться с воплощенной в антихристианской тоталитарности волей к Безличности, то св. Иоанн Креста и в этом религиозном опыте своем – наиболее личном, брачном соединении души человеческой с Богом, – будет людям нужнее, чем кто-либо.

3

Но людям наших дней он так не нужен, так не существует для них, – потому что для людей существует действительно только нужное – что им трудно поверить, что такой человек был. Самое противоположное им существо, их самый крайний духовный антипод – св. Иоанн Креста. Он и они отрицают друг друга до таких последних глубин бытия, что можно сказать: он есть – их нет, и наоборот. Чтобы это почувствовать, стоит только сравнить две оценки знания – одну, у св. Иоанна Креста, и другую, у людей нашего времени. Знание или, вернее, та низшая часть его, в которой изучаются только законы действующих в мертвой материи механических сил, заменяет людям сейчас то, что некогда была для них энергия. Люди наших дней верят в сверхъестественную силу знания почти так же слепо и грубо-невежественно, как дикари – в колдовство. Если бы св. Иоанн Креста имел несчастье жить в наше время, то он понял бы жалкий обман такого мнимого знания. Один из первых основателей того, что мы называем «критикой познания», он понял, что человеческий разум вечно колеблется, как на двух чашах весов, между возможностью и невозможностью действительного, за покров явлений проникающего знания; понял, что не знать для человека иногда нужнее, чем знать. «Последнее действие разума заключается в том, чтобы от себя отречься», – скажет Паскаль,

духовный близнец св. Иоанна Креста. «Последнее действие знания заключается в том, чтобы от себя отречься», – мог бы сказать св. Иоанн Креста. Люди думают, что день покрывается ночью, а св. Иоанн Креста знает, что наоборот:

Ночь покрывается днем,

как учит незапамятно древняя вавилонская клинопись; знает он, что звездная ночь того, что другой духовный близнец его, св. Дионисий Ареопагит, называет «Божественным Неведением», *Agnosia*, глубже, чем солнечный день человеческого знания (*Baruzi*, 452).

Не зная куда, я молча вхожу, и в незнании моем я выше всякого знания. Не зная, как я вошел в темное место, в беспричинное действие... Где кто-то что-то сказал мне великое, понял я, что незнание мое выше всякого знания... Смертная борьба в душе моей; самого себя уже не знаю, всякое чувство бежит от меня, и пустота во мне бесконечная. А всё же, в незнании моем, я выше всякого знания (*Noorn.*, 252–255).

Что для человека наших дней, как не дикий лепет изувера или бред сумасшедшего?

А вот нечто, еще более для него нелепое антиподно-опрокидывающее всё:

Не легкого желай, а трудного,
Не вкусного, а пресного,
Не большего, а меньшего,

Не высшего, а низшего...

Желай не желать ничего (Baruzi, 437).

Или это:

Чтобы вкусить от всего,
Ничего не вкушай;
Чтобы все познать,
Не знай ничего;
Чтобы всем обладать,
Не имей ничего;
Чтобы сделаться всем,
Будь ничто (Baruzi, 312).

Если бы люди наших дней поняли, что это «изуверство», это «сумасшествие», может, сделавшись снова таким же, каким оно уже было некогда при основании христианства, иметь необозримые для них последствия; что в этом «сумасшествии» заключена взрывчатая сила, достаточная для «расщепления атома» – Личности, если бы люди наших дней это поняли, то не сожгли бы св. Иоанна Креста на костре, как едва не сожгла его св. Инквизиция, а только посадили бы в лечебницу для душевнобольных, как сделали бы, вероятно, и с Тем, Кто это «сумасшествие» начал, – Сыном Божьим, – не удостоив Его, в наши дни, и Креста.

Чтобы пережить антиподно-противоположный, *преисподний опыт*, св. Иоанн Креста, *experientia abismal* (Baruzi,

XIII), человеку наших дней надо, по евангельскому слову, в полном и страшном смысле его, «обратиться», strephein, «перевернуться», «опрокинуться», как бы сделаться себе самому «антиподом». Но если бы он «перевернулся» так, то бывший «антипод» его, св. Иоанна Креста, может быть, оказался бы не в опрокинутом для него, а в естественном положении тела, и не страшно далеким от него, а страшно близким, нужным ему, как ничто, чтобы помочь твердо стать на ноги и выйти под новое небо, на новую землю, где «обитает правда». «Ибо мы (верующие во Христа), по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда» (II Петр., 3, 13). Первая и последняя правда всего человечества, что Бог есть Личность и человек тоже.

4

Самое страшное и гнусное во второй Великой Войне – этом небывалом за память человека жертвоприношении... Молоху безличности государственности – то, с каким восторгом люди сами кидаются и кидают других в его раскаленное чрево, «летят на смерть, как мухи на мед», по слову Тертуллиана и христианских мучеников.

Кажется, если бы столько жертв, сколько сейчас приносится дьяволу войны, приносилось Тому, Кто сказал: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как дает мир, Я даю вам» (Ио., 14, 27), то давно уже наступил бы вечный мир на земле – начало Царства Божия.

Может быть, людей, чувствующих ужас войны, больше, чем это кажется. Но сколько бы их ни было, все достойное этого имени человечество – в них. Ужас войны для них – ужас Гефсиманской ночи, наступившей для всего человечества.

Начал ужасаться и тосковать... И пал на землю и молился... (Мк., 14, 33–35).

И, находясь в борении, еще с большим усилием молился; и был пот Его, как капли крови, падающие на землю (Лк., 22, 44–45).

Весь «преисподний опыт» св. Иоанна Креста, всё, что он называет так просто и глубоко «Темною Ночью», *Noche*

Осуга, – есть Гефсиманская ночь. «Спящими от печали» нашел учеников своих в ту ночь Иисус. «Смертная мука Иисуса будет длиться до конца мира; в это время не должно спать», «Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde: il ne faut pas dormir pendant ce temps-là», – это знает Паскаль; знает и св. Иоанн Креста. Весь религиозный опыт его есть исполнение этой учениками не исполненной, первой и последней мольбы Сына Божия о человеческой помощи:

Бодрствуйте со Мною (Мт., 26, 38).

Весь религиозный опыт св. Иоанна Креста есть не что иное, как не проспавшая «от печали» с учениками, а прободрствованная с Ним одним, до конца мира бодрствующим, Гефсиманская Ночь.

Если бы кто-нибудь из учеников бодрствовал в ту ночь и видел, как борется Сын до кровавого пота – с кем, – только ли с самим Собой, или также с Отцом? – то, может быть, почувствовал бы то же, что чувствовал св. Иоанн Креста и чем он жил всю жизнь.

«В эту темную Ночь, уже невозможно... молиться, – вспоминает он, – а если все-таки молишься, то с такой... безнадежностью, что кажется, Бог не слышит молитвы... Да и в самом деле, лучше тогда не молиться, а только, лежа лицом в пыли, покорно и молча терпеть эту муку» (Ноогн., 77. Авг., 134). Муку эту терпят сейчас те, кто не «спит от печали», а бодрствует и чувствует ужас Войны, как Гефсиманскую ночь всего человечества. Вот почему им ближе и роднее, чем кто-

либо, страдающий и бодрствующий с ними, в эту ночь, св. Иоанн Креста.

II. Жизнь Св. Иоанна Креста

1

Меру человека дает жизнь его – это общее правило для св. Иоанна Креста недействительно, потому что он только и делал, что уходил от жизни, или, по крайней мере, от того, что людям кажется жизнью; уходил от внешнего мира в себя. Внутренняя жизнь его так превосходила внешнюю, что эта исчезала перед той, как пламя свечи перед солнцем. Вот почему жизнеописание св. Иоанна Креста трудно, почти невозможно. Трудность увеличивается тем, что свидетели жизни его изображают его не таким, каким он действительно был, а каким бы ему следовало быть, по общему канону святости; пишут не жизнь его, а житие, в котором живое лицо человека поглощается иконописным лицом святого. Но сила внутренней жизни его так велика, что и в этих житиях проступает иногда сквозь мертвый лик живое лицо, такое необычайное, единственное, что достаточно увидеть его, чтобы уже никогда не забыть и с бесконечным удивлением почувствовать, насколько живее многих, как будто полную жизнью живших людей, был этот всегда от жизни уходивший человек.

«Учитель Ничего», Doctor Nihilis, так называли его современники, именем неверным, потому что только половиной

цельного имени: «*Учитель Ничего и Всего*».

В твоём «Ничто» я всё найти надеюсь.

In deinem Nichts hoff ich Alles finden, —

скажет Фауст Мефистофелю; то же могли бы сказать, хотя в ином, конечно, смысле, св. Иоанну Креста посвященные в его мистерию: *Все и Ничто, Todo y nada*.

Только что ты на чем-нибудь остановишься,

Как перестанешь погружаться во Всё, —

учит он других делать и делает сам: не останавливается во внешней жизни ни на чем, сводит ее к Ничему, чтобы через внутреннюю жизнь погрузиться во Всё (Baruzi, 312).

«В самое, в самое внутреннее, в самое глубокое, в сердце души» — этот «путь Совершенства», camino de Perfeccion, у св. Терезы Иисуса есть путь и св. Иоанна Креста. Легок и широк общий путь людей: от самого глубокого, внутреннего, к самому поверхностному, внешнему, — от действительного Всего, может быть, к Ничему; узок и труден путь необщий: от внешнего к внутреннему — от того, что, может быть, есть Ничто, к тому, что, наверное, — всё.

Если хочешь всем обладать,

Не имей ничего;

Если хочешь быть всем,

учит и этому св. Иоанн Креста других и учится сам: хочет быть Ничем во внешней жизни, чтобы сделаться во внутренней – Всем.

Если путь Ничего-Всего, «нищета-нагота» – «Прекрасная Дама» св. Франциска Ассизского, – всё еще наполовину этика, – внешнее действие на внешний мир, то у св. Иоанна Креста это уже метафизика или, говоря на языке наших дней, «критика познания», осуществляемая в мистике, – совершенно внутреннее действие на внутренний мир. Это путь из поверхностного, внешнего, – «в самое, самое внутреннее, в самое глубокое, в сердце души» – из Ничего во Всё.

Внешняя жизнь св. Иоанна Креста – почти ничто, – те желтые лишай и серые мхи, что растут на голом граните высочайших гор, или те туманно-белые, подобные прозрачно-легкому кружеву цветочки-звездочки в расщелинах скал, что кажутся такими слабыми, но и сокрушающих скалы громов не боятся. Эта скудная внешняя жизнь жития св. Иоанна Креста еще больше скудеет или обогащается мертвым богатством – серебром, золотом и драгоценными камнями тех риз, которыми скованы лики святых на иконах. Но иногда и сквозь этот иконописный лик сквозящее лицо его дышит такую глубокою внутренней жизнью, что, как это ни трудно, все-таки можно, и по глухим намекам житий, по уцелевшим в них огненным точкам жизни, угадать ее, по крайней

мере, настолько, чтобы понять, как повлияло на нее сделанное им великое открытие вечного в мире взаимодействия двух премирных начал – Ничего и Всего, – подобного двойному шествию Ангелов, нисходящих и восходящих по лестнице Иакова.

Для того и нужно знать жизнь св. Иоанна Креста, чтобы понять, какое значение имело это открытие не только для него самого, но может иметь и для всего человечества.

2

Св. Иоанн Креста, дон Жуан де Иэпес, родился, вероятно, – потому что люди забыли даже точный год рождения этого «Неизвестного Святого», как его называли уже его современники, – в 1542 году, за два года до смерти Лютера и через два года после выхода в свет «Установления христианства», «*Institutio Christianismi*», Кальвина, – следовательно, между концом Лютера и началом Кальвина, – в самом огненном сердце Реформы, в ее раскалении добела (Hoorn., VIII – Baruzi, 70, note I).

Бедный, захолустный городок Фонтиверос, где родился Жуан, находится на одном из плоскогорий Старой Кастилии, близ города Авилы, где родилась св. Тереза Иисуса. Это плоскогорье, довольно унылое, напоминает более север, чем юг. Дремлющие в глубоком затишьи бесконечные луга и пастбища; двойные ряды тополей, уходящие вдоль пустынных дорог в еще более пустынные дали: кое-где ослепительно, как расплавленное серебро, сквозь тощие перелески, сверкающие на солнце болотные пруды-лагуны, откуда вечером стелется под кваканье лягушек и крик коростелей голубовато-серый дым: «ведьмы кашу варят»; самая злая из них – Лихорадка, с трясущимся телом и синим лицом. Единственная прелесть этого глухого, людьми забытого края – тишина, нарушаемая только далекой пастушеской свирелью да

вечерним колоколом Ave María. И на самом краю неба призрачно-голубеющая, почти всегда убеленная снегом, величественная цепь Сиерра-де-Гредос ограждает стеной это заколдованное царство тишины.

В тесных улочках городка Фонтивероса, извилистых и каменистых, как русла высоких горных потоков, в низеньких белых домиках с почти плоскими кровлями и решетчатыми оконцами стучали с утра до вечера ткацкие станки, потому что большая часть фонтиверских жителей занималась, кроме полевых работ, тканьем шерсти и шелка. В одном из этих домиков и родился Жуан (Bruno, I. Baruzi, 71).

Отец его, дон Гонзало де Иэпес, происходил из древнего, знатного и богатого рода. Прадед его, дон Франческо Гарчия де Иэпес, лет за сто до рождения Гонзало, был сначала одним из любимых рыцарей испанского короля Жуана II, а потом – толедским инквизитором; другой предок, дон Диэго де Иэпес, был тарагонским епископом и духовником короля Филиппа II (Baruzi, 67). Между родственниками Гонзало были также три каноника и один старший капеллан Толедского собора (Bruno, 2). И хотя другая ветвь рода обеднела и захудала – отец Жуана принадлежал к этой ветви, – но, по обычаю всех обнищавших благородных гидальго Старой Кастилии, чем ниже падал род, тем больше гордились потомки величием предков и незапятнанной «чистотой», «ясностью крови», *limpieza de sangre*. Только один из них, дядя дона Гонзало, разжился на шерстяном и шелковом промысле

так, что сделался богатейшим толедским купцом (Dem., 2). Злые языки говорили, что не всегда удавалось ему соединить торговую выгоду с рыцарской честью. Но туго набитая, новая, купеческая мошна нисколько не мешала ему хвалиться древним величием рода и незапятнанной «ясностью крови».

К дону Гонзало были равнодушны, и ни зла, ни добра ему не делали все остальные богатые родственники, кроме толедского купца, который, приняв его в свой дом, совсем обнищавшего по смерти отца, сделал приказчиком своим. И племянник сумел так войти в милость дяди, что он обещал, если тот и впредь себя хорошо поведет, завещать ему большую часть своего имущества. Но дон Гонзало повел себя нехорошо.

Едучи однажды по торговым делам на Медин-дель-Кампскую ярмарку, случайно остановился он в городке Фонтиверосе, также случайно увидел молодую поселянку, жившую из милости у чужих людей, бедную сироту, чудесную красавицу Каталину Альварец, и полюбил ее с тою внезапностью, с какою любовь иногда поражает и испепеляет душу, как молния. Он полюбил ее не только за красоту тела, но и за благородство души, потому что «не было в те дни», вспоминают свидетели, «ни одной девушки в Старой Кастилии, более прекрасной и добродетельной, чем Каталина Альварец (Baruzi, 67–68). Прелесть ее под грубой одеждой поселянки была еще пленительней, и все существо ее дышало таким „благородством“ *nobleza*, что „светлость крови“, текущей в

жилах ее, казалась несомненное, чем у многих знатных дам (Bruno, 2, 375).

Голос благоразумия, может быть, остерегал молодого рыцаря-приказчика, что чванливый дядя-самодур никогда не простит ему брака неравного, «ясности» благородной крови Иэпесов помутившего брака с простой крестьянкой. Но голос благоразумия, как это почти всегда бывает в любви, заглушен был другими голосами, сильнейшими и сладчайшими. Может быть, легкомысленно посердится, но, как умный человек, поймет, что прошлого все равно не воротить, и, рано или поздно, его простит. С этой надеждой он и женился. Но дядя не простил, а проклял его, выгнал из дома и лишил наследства. Так же прокляли его и все остальные знатные родственники, богатые и бедные. «Всеми был от отвержен, aborricido, по воспоминанию свидетелей (Bruno, 375. Varuzi, 68). И выгнанный, как собака, на улицу, остался без куска хлеба. Но в первом упоении любви не слишком этим огорчился и даже как будто хорошенько не понял, что с ним произошло. Та, кого он любил, была для него таким сокровищем, что бедность его не пугала.

Переселившись в городок Фонтиверос, дон Гонзало разделил долю жены и начал у нее учиться ткацкому ремеслу. Но учение шло трудно и медленно; жесткие нити грубой козьей шерсти резали нежные пальцы белых рук его с голубыми жилками, в которых текла благородная кровь Иэпесов. Сколько ни учился, хорошего ткача из него не вышло. Зара-

боток даже искусных мастеров был скуден, а так как муж для Каталины был плохим помощником и ей приходилось работать за двоих, то она едва сводила концы с концами.

Все же кое-как перебивались, пока не начали рождаться дети, а как начали, то в двери дома постучалась «та гостья, которой, – по слову Данте, – никто не открывает дверей охотно, так же, как смерти». Бедность вошла в дом, и пламя очага потухло, и солнце побледнело на небе. Бедность привела с собой двух старших сестер своих, Болезнь и Смерть.

Злая ведьма Фонтиверских болот с трясущимся телом и синим лицом стала прилетать все чаще к дому Гонзало, ложилась в постель между ним и женою, ласкалась к нему, припадала губами к губам, и тело его тряслось, губы синели так же, как у ведьмы.

Года два он болел, чувствуя, что если мог бы бежать из этой «проклятой дыры», как называет теперь Фонтиверос, бывший рай любви, то спасся бы. Но не только уехать, и лекарства купить было не на что, потому что, во время болезни мужа, Каталина не могла работать, как следует, а в последние, самые тяжелые месяцы, должна была совсем оставить работу. И хуже всего было то, что больной падал духом и уже не боролся с болезнью, покорно ожидая конца. Медленно таял, как свеча и, наконец, отдавая любимой всю душу в последнем поцелуе любви, тихо угас (Bruno, 3).

Каменный груз, едва под силу упряжке волов, навалили на молодого благородного берберийского коня, и секли его

кнутом, и гнали на гору; он недалеко ушел: жалко хрустнула тонкая кость хребта; пал и издох.

«Я его убила», – думала Каталина над гробом умершего. Это была одна из тех мыслей, от которых люди сходят с ума или убивают себя, потому что не могут их вынести. Если же Каталина вынесла ее, то, может быть, потому только, что чувствовала у сердца своего новую жизнь – еще не рожденного сына; что будет сын, а не дочь, была почему-то уверена так, что никогда в этом не сомневалась, и не ошиблась: сын родился у нее, Жуан, будущий Иоанн Креста – сын смерти, потому что родился от умершего, и сын утешения, потому что еще в утробе матери, во той Темной Ночи, *Noche Oscura*, где проходит таинственная грань между вечностью и временем, уже совершил первое великое дело любви – спас от отчаяния мать.

«Багрянородными», «Порфирогенатами», «Рожденными в царственном пурпуре», назывались первенцы-наследники византийских императоров. Таким багрянородным, в царственном пурпуре святости рожденным, был и св. Иоанн Креста. «Будущей великой святости являл он все признаки». «*Illustre futurae sanctitatis specimen praemonstrabat*». В святости он жил от самого раннего детства. «*Adhuc in puerili et tenerrima aetate constitutus*», – этому приговору в так называемой «Апостолической Тяжбе», *Procursus Apostolicus*, здесь перед увенчанием нового святого Римской Церкви проверяются в жизни его необходимые канонические признаки святости, – этому приговору судей, может быть, не следует верить вполне, потому что это лишь общее место таких Апостолических Тяжб. «Более небесная, чем земная душа». «Серафим, сошедший с неба, на земле». «Свят был еще во чреве матери», – тоже лишь общие места в житиях (*Dem.*, 4). Но, кажется, нельзя не поверить свидетельству св. Терезы Иисуса, пятнадцатилетней сотрудницы, духовной дочери св. Иоанна Креста: «Всю жизнь он был святым» (*Bruno*, 316). «Брат Иоанн невинен, как двухлетний младенец», – будут говорить о нем, уже тридцатилетнем, и другие, лучше всего его знающие люди (*Bruno*, 136).

Если в религиозном опыте и догмате христианства о пер-

вородном грехе заключена непреложная истина, то все люди рождаются грешными, и никто из них от рождения не свят. Грешным родился и св. Иоанн Креста, но в наиболее возможном приближении к святости. «Святость у него была такая, какая только может быть у человека в жизни земной». «Tanta (santidad) cuanta una pura criatura podia tener en esta vida», – скажет св. Тереза (Bruno, 476). «Ангелы – мои и Мать Божия – моя, los ángeles son míos y la Madre de Dios», – говорил, будто бы, маленький Жуан, по свидетельству житий. Но если он и не говорил такими словами – в них слишком внятно слышится голос взрослых людей, подражающих детскому, – то, может быть, в этих словах сделана попытка выразить то, что он чувствовал и чего не мог бы выразить никакими словами, – такое касание к мирам иным, какое только человеку возможно.

«Он был всю жизнь святым» – это значит: внутреннего переворота, «обращения» от мира к Богу, от греха к святости, какой был у ап. Павла, у св. Августина, у св. Франциска Ассизского и почти у всех великих святых, у Иоанна Креста не было вовсе: вся жизнь его – один непрерывно восходящий путь к святости.

«Я – крестьянский сын», – хвалится Лютер, потомок тюрингенских рудокопов и пахарей. «Я – сын бедного ткача», – хвалится с иным чувством и св. Иоанн Креста, потомок благородных рыцарей Иэпесов (Bruno, 248). «В бедности он родился, *robremente nascíó*» – в этих двух словах лучше всего выразил старший брат его, Франциск, главное в детстве Иоанна – то, что было ему в начале жизни нужнее всего (Baruzi, 65). Кажется, если бы надо было ему самому выбрать себе детство, он выбрал бы именно то, какое выпало ему на долю.

Путь св. Франциска Ассизского – от богатства к бедности – не нужен св. Иоанну Креста: он уже сразу там, куда Франциск с таким бесконечным усилием шел. Даром получил Иоанн то, за что заплатил так дорого Франциск, – «обнищание», «обнажение» от всего, *desnudez*. Прекрасная Дамма, Бедность, качала колыбель Иоанна и баюкала его страшной для всех, а для него от всякого страха освобождающей песенкой:

Не легкого желай, а трудного...

Не сладкого, а горького...

Не большего, а меньшего,

Не высшего, а низшего...

Желай не желать ничего.

Этим начал он жизнь; этим и кончит: вся она путь от Ничего к Всему.

Если бы хорошие люди не помогали молодой вдове, с тремя малолетними детьми – старшим сыном, Франциском, средним, Луисом, и младшим, Жуаном, – то все они погибли бы. Но и те, кто помогали, сами были так бедны, что не могли их спасти, и ту же, все ту же затягивалась на шее Каталины мертвая петля нужды. Самые черные дни наступили для нее во время тяжелой болезни маленького Луиса, когда она вынуждена была снова оставить работу так же, как во время болезни мужа. «Слава Богу, не будет больше страдать!» – подумала она, когда Луис умер, и двум остальным едва не пожелала того же.

Сидя без свечи в наступающих сумерках, варила она из последних припасов на последней вязанке хвороста молочную похлебку для детей, когда вспомнила вдруг, как маленький Лу, – так называла Луиса, – перед самой смертью попросил у нее молока, но не было и капли, и она должна была напоить его водой. «Клювы свои раскрывают дети ворона, и Ты насыщаешь их, Господи», – вспомнила псалом и подумала: «Ворона детей насыщает Господь, а мои умирают от голода». Вспомнила также Евангелие: «Не заботьтесь для жизни вашей, что вам есть и что пить... Взгляните на птиц небесных: не сеют они, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» «Нет, –

подумала, – не лучше, если птиц небесных питает Отец, а люди умирают от голода. Что же это значит?...» И как будто вдруг кто-то шепнул ей на ухо: «Значит, что Сын лжет об Отце!» Это была такая же страшная мысль, как и та – о смерти мужа. «Я его убила!» – одна из тех мыслей, от которых люди сходят с ума или убивают себя, потому что не могут их вынести. Чтобы ничего не видеть, ни о чем не думать, закрыла глаза. Долго ли так сидела, не помнила, а когда, вдруг почувствовав чье-то присутствие, открыла глаза, то увидела маленького Жуана, стоящего перед ней и смотревшего на нее так, как будто он знал, о чем она думает. И что-то было в лице его такое неизвестное, далекое и чужое, что ей сделалось страшно; точно он и не он, – на него похожий, но другой, – его двойник.

«Что ты, Жуан?» – спросила чуть слышно, и, когда он ничего не ответил, продолжая смотреть на нее все тем же знающим взором, ей сделалось еще страшнее. Но вдруг лицо его изменилось: исчез двойник и снова был настоящий Жуан, родной, роднее для нее всего, что есть в мире. Кинувшись к ней на шею, он крепко обнял ее, поцеловал и шепнул ей на ухо: «Все хорошо будет, не бойся, – Он сейчас придет...» «Кто придет?» – спросила она. Малый опять ничего не ответил и, оглянувшись на дверь, прислушался. «Кто придет?» – повторила она. «Знаешь сама, – зачем спрашиваешь?» – ответил он, наконец, и опять прислушался. «Вот Он идет! слышишь?» – проговорил он с такой уверенностью, что и она

прислушалась, но ничего не услышала. И опять ей сделалось страшно, но уже другим страхом. «Что с ним такое?» – подумала. «Не заболел бы и он, как Лу...» Руку приложила ко лбу его, пощупала, нет ли жара. Но жара не было. И опять вернулся прежний страх неизвестного.

Вдруг постучались в дверь. Встать хотела она, чтобы открыть, но не могла – ноги подкосились от страха. Мальчик подбежал к двери, открыл ее, и вошел знакомый старичок – пастух с очень добрым, но немного полоумным, навсегда как будто удивленным и недоумевающим лицом.

«Добрый вечер, донья Каталина», – поздоровался он и раскланялся с тою рыцарскою любезностью, которая свойственна была самым простым людям в Старой Кастилии. «Доньей» назвал он ее потому, что так называли ее все, из уважения не к мужу, а к ней самой, и то, что она была почти нищая, этому нисколько не мешало, – напротив: нищих иногда уважали за благородство души больше, чем богатых, все по тому рыцарскому духу Старой Кастилии.

Медленно, с тихою важностью, старичок подошел к столу, поставил на него большую корзину и начал вынимать из нее хлеб, сыр, яйца, пирог с голубями, окорок, медовый сот, кувшин с молоком, кринку со сливками и две бутылки вина – такое пиршество, какое никогда не видно было в этом бедном доме.

«От кого это, Ридриго?» – спросила Каталина, не веря глазам своим от удивления.

«Кушайте на здоровье, донья Каталина, и да хранит Господь вас и детей ваших, а от кого, не ведено сказывать», – ответил старичок, и сколько она ни расспрашивала, только лукаво усмехался, головой покачивал, подмигивал и все повторял: «Не велено сказывать!» С тем и ушел.

«Что это, – ответ на те страшные мысли о сытых птицах и голодных людях, – или, может быть, все очень просто?» – подумала она и вспомнила богатую, благочестивую и добрую женщину, у которой жила до замужества и которая потом уехала неизвестно куда; может быть, вернулась и, услышав о нужде ее, прислала ей эти припасы. Но если так, то почему же «не велено сказывать»? И как узнал об этом Жуан? Он никогда не лжет, и, если говорит, что никто ему не сказал, значит, так и было. Как же узнал? Или, в самом деле, *ответ*?

Стоя перед ней, мальчик смотрел на нее таким же, как давеча, глубоким, в душу ее проникающим взором, как будто знал, о чем она думает, но теперь уже не казался далеким и чужим, как давеча, а близким был и родным, как никогда. И вдруг захотелось ей сказать ему все. Но тотчас же, опомнившись, сама на себя удивилась: «С ума я сошла, можно ли об этом говорить с ребенком!» И только что это подумала, как почувствовала, что и ни с кем об этом нельзя говорить, потому что словами ничего не скажешь, и поняла, что это еще не ответ, а только вещей знак того, что ответ *будет*.

Мальчик, продолжая смотреть на нее молча, улыбнулся ей так, как будто и эти мысли ее угадал. Потом, подойдя к сто-

лу, начал с детским любопытством рассматривать припасы. «Сколько добра! – воскликнул он радостно. „Ну теперь уже голодать не будем... А это что такое?“ – удивился, увидев огромный, золото-чешуйчатый, невиданный плод – только что в Европу из Нового Света привезенный ананас. „Вот так яблоко, больше моей головы!“

И засмеялся, запрыгал, захлопал в ладошки от восхищения, совсем как маленький ребенок. Трудно было поверить, что мог смотреть и говорить так, как только что смотрел и говорил.

«Все уже знает, только еще не может сказать, но когда-нибудь скажет и все хорошо будет!» – подумала мать, глядя на сына с такою же радостью, с какою Бог в конце творения увидел все, что сотворил, и сказал: «Все хорошо весьма» (Бт., 1, 31).

«Очень хорошенький и умненький мальчик, muy bonito y muy agudo, но все-таки самый обыкновенный ребенок» – таково было впечатление тех, кто видел маленького Жуана в первый раз (Grupo, 73–76). Багрянородного наследника святости, «Ангела, сошедшего с небес», никто не угадывал в нем. И даже те, кто ближе подходили к нему и вглядывались в смуглое лицо его с тонкими чертами, в которых видна была благородная «светлая кровь» Иэпесов, с черными, глубокими и ясными глазами, с тихой, не то чтобы грустной, но, может быть, для ребенка слишком задумчивой улыбкой, даже и те чувствовали в нем не что-либо святое», «ангельское», а только немного странное, на других детей непохожее, но бесконечно милое: так проходящий ночью по лесу чувствует вдруг в темноте благоухание невидимого цветка.

Как скуден и горек хлеб ткачей, знала Каталина по опыту своему и сына своего, Франческо, – он был на десять лет старше Жуана, – который сделался превосходным ткачом, но к двадцати годам, женившись, едва мог прокормиться с женой на скудный заработок: так была сбита плата за труд множеством ткачей в городке Фонтиверосе. Знала Каталина и то, как поглощает это ремесло всего человека: вот почему не хотела она обрекать на него любимца своего, Жуана, но искала для него другого ремесла, которое давало бы ему луч-

ший заработок и хоть бы малый досуг для школьного учения, чтобы не погибли даром заложенные в нем и только ею одной уже угаданные, великие дары духа. В поисках такого ремесла она отдала его на выучку разным мастерам, и он пробовав сделаться плотником, портным, резчиком по дереву и живописцем или просто маляром. Но как бы ни был трудолюбив и усерден, не мог выучиться ни одному из этих ремесел (Baruzi, 65. Bruno, 6, 376), может быть, потому, что вообще в жизни не мог или не хотел остановиться ни на чем, точно не ходил по земле, как все люди ходят, а скользил по ней, как по льду скользят конькобежцы или водяные пауки с тончайшими лапками, оставляющими на водяной поверхности почти невидимый след, скользят по воде. С детства уже как будто был верен будущей заповеди своей:

Только что ты на чем-нибудь остановишься,
Как перестанешь погружаться во Все.

И будущее великое открытие свое – вечное в мире взаимодействие двух премирных начал, – Ничего и Всего, Nada у Todo, как будто уже в детстве предчувствовал: внешняя жизнь становилась для него уже и в начале жизни почти Ничем, а внутренняя – Всем.

Как-то раз, ночью, заглянув к нему в горенку, – купленная на ярмарке бумажная иконка Божьей Матери, с неугасимую перед нею лампадкой, делала горенку похожей на монашескую келью, – мать увидела, что он спит не на постели, а на вязанке колючего тернового хвороста (Dem., 4). «Это еще что такое! – воскликнула она, разбудив его, как будто с гневом. – Что ты делаешь, сумасшедший. Ступай сейчас в постель!»

Мальчик хотел что-то сказать, но промолчал, только, вставая с хвороста, посмотрел на нее так, как внезапно разбуженный смотрит на мягкую постель, с которой подняли его насильно, и покорно исполнил приказание матери.

А в другой раз, зайдя к нему в спальню далеко за полночь, она увидела его стоящим на коленях, на том же хворосте, и погруженным в молитву так, что он не слышал, как она вошла. Хотела его опять побранить, но на лице его было такое блаженство, что души у нее на это не хватило, и потихоньку вышла из горенки (Bruno, 7, 376). А утром на следующий день, – это был один из их любимых праздников, Рождество Богородицы, – перед тем как идти в церковь, спросила его: «О чем ты больше всего молишься, Жуан?» «Не знаю... не помню», – ответил он и, немного подумав, прибавил: «Я не молюсь ни о чем...» И еще прибавил, видимо желая и не

умея выразить с точностью того, что чувствовал: «Я молюсь ни о чем. Лучше всего ни о чем не молиться: тогда все уже есть и все хорошо...» «Что это значит: молиться ни о чем?» – удивилась она.

Он ничего не ответил, только посмотрел на нее тем же глубоким, в душу ее проникающим взором, как тогда, когда она думала о сытых птицах и голодных людях, и в лице его промелькнуло то же, как тогда, неизвестное, такое далекое и чужое, что ей сделалось страшно; точно он и не он, – на него похожий и другой, – его двойник. Но промелькнуло – исчезло, и опять был настоящий Жуан, близкий и родной, роднее для нее всего, что было в мире.

В эту минуту послышался благовест.

«В церковь пора! Я сейчас, только шляпу возьму», – заторопился он и выбежал из комнаты, как будто боясь, чтобы она опять не заговорила о том, о чем он не хотел говорить.

Давешний страх не исчез, но вспомнился другой, величайший, когда-либо в жизни ею испытанный страх.

Если бы прочла она в житии св. Иоанна Креста: «Старческая мудрость была у него с детства... так что и другие дети не смели ни говорить, ни делать при нем что-либо дурного», – если бы она это прочла, то, вероятно, усмехнулась бы, потому что слишком хорошо знала, что старческого не было в нем ничего, а если была та детская мудрость, о которой сказано: «Из уст младенцев... Ты устроил хвалу» (Пс., 8, 3), то было и безумие детское, тот буйный избыток жиз-

ни, от которого рождаются иногда опасные детские шалости (Bruno, 10, 376. Demim.,4, 26). Если бы этого не было, то не случилось бы то, от чего испытала она тот великий страх.

Это случилось года четыре назад, когда Жуану минуло лет шесть. В город Медина-дель-Кампо, куда Каталина ненадолго за работой приехала, Жуан играл однажды с детьми у старого заброшенного колодца на пустыре близ тамошней больницы. Игра состояла в том, чтобы пробежать по узкой и скользкой от сырости, каменной стенке колодца; кто пробежал по ней чаще и храбрее всех, выигрывал одно из полдюжины яблок, похищенных в соседнем монастырском саду, зеленых и кислых, почти несъедобных, но не менее соблазнительных для игроков, чем погубивший род человеческий плод с Древа Познания. К выигрышу был ближе всех Жуан: ему оставалось пробежать еще один только раз, и он скользил по старой, узкой стенке легко, как тень, с такой безумной отвагой, что у смотрящих на него захватывало дух. Вдруг главный соперник его, пробежавший только один раз меньше его, закричал, должно быть, из зависти к Жуану: «Сторож идет!»

Сторожа этого дети боялись как огня, потому что он драл их за уши и бил палкой за похищенные яблоки и другие шалости.

Услышав крик, Жуан оглянулся и, споткнувшись о скользкий камень, потерял равновесие, тихо качнулся и упал в колодец. Все произошло так внезапно, что дети не сразу

поняли, что случилось, а когда по далекому на дне колодца всплеску воды поняли, то так испугались, как бы им не оказаться в ответе, что разбежались по лугам, попрятались и, только прождав больше времени, чем нужно было, чтобы Жуану десять раз потонуть, опомнились и начали звать на помощь.

Каталина, жившая у знакомой ткачихи в маленьком домике недалеко от колодца, услышав крики и увидев из окна бегущих людей, вышла на крыльцо и спросила, что случилось. «Мальчик в колодец упал!» – ответил ей один из бежавших. «Какой мальчик?» – опять спросила она, но тот, кто ей ответил, был уже далеко.

«Ох, Каталина, бедная, пропала твоя головушка!» – завывала издали, увидев ее, бежавшая от колодца хозяйка ее. «Мальчик твой Жуан...»

Больше Каталина ничего не слышала и не видела. Так же тихо покачнулась, как давеча Жуан на стенке колодца, и упала бы, если бы кто-то не поддержал ее и не усадил на ступеньку крыльца. Всю ее пронзил, как ледяная молния, неведомый людям, потому что невообразимый и незапоминаемый ужас, уничтожающий душу, как та, предсказанная в Апокалипсисе, «вторая смерть, от которой нет воскресения». Страшным усилием воли одолела она наплывший на нее мрак беспомысленности, открыла глаза и увидела бежавших мимо людей с шестами, баграми, лестницами, веревками и фонарями, чьи тускло красные на солнце огни казались похоронными. В об-

щем крике и шуме, сколько ни прислушивалась, ничего не могла услышать как следует. «Нет, коротка, до дна не хватит», – сказал вдруг кто-то так близко от нее и внятно, что она услышала. «А эта?» – спросил другой. «Эта хватит», – ответил первый. «Петлю только надо затянуть потуже, чтобы не развязалась, когда потащим наверх».

Она вдруг поняла, что говорят о веревках, которыми будут подымать из колодца Жуана, живого или мертвого.

«Только бы петлю подмышки надеть догадался», – опять сказал кто-то.

«Коли не дурак, догадается, небось», – ответил другой.

«Жив!» – подумала она, и ужас от нее отступил, но ненадолго.

«Голос-то все еще подает?» – спросил кто-то.

«Давеча подавал, а сейчас не слышно», – ответил другой.

«Мертв!» – подумала она, и ужас к ней опять приступил.

То жив, то мертв; между надеждой и ужасом то взлетала, то падала, как на исполинских качелях качалась. Кажется, мучилась бы меньше, если бы наверное знала, что мертв.

Что было потом, помнила, как страшный сон. Кто-то помог ей встать и подойти к толпе, вдруг затихшей и расступившейся перед нею так, как расступается толпа перед тем, кто страшен для нее или свят.

Подойдя к колодцу, увидела двух дюжих молодцов, подымавших что-то на двух перекинутых через стенку колодца веревках. Медленно двигались веревки на двух чуть-чуть по-

скрипывавших блоках, и вытянутые концы их свивались в кольца. Вид этих колец, точно живых, шевелившихся, как змеи, был ей так страшен и отвратителен, что она старалась на них не смотреть, но все-таки жадно смотрела.

«Тише, тише, ровней, как бы головой о стену не ударился», – сказал один из подымавших, и движение веревки еще замедлилось.

Вдруг зачернело над стенкой колодца что-то маленькое, круглое. Голову Жуана Каталина узнала сразу. Мокрые волосы прилипли к голове, тихонько качавшейся в лад с движением веревки. Лица Каталина не видела.

«Жив или мертв?» – в последний раз качнулись качели между надеждой и ужасом, и вдруг остановились навсегда. Жуан увидел мать и улыбнулся ей, и она обрадовалась так, что все испытанные ею муки перед этой радостью были ничто.

Мальчика перенесли в домик, где жила Каталина, и вместе с хозяйкой она осмотрела тщательно все тело его, не ранен ли он; но не было на нем ни синяка, ни царапины.

«Ну, Каталина, благодари Пресвятую Деву Марию. Никто, как Она, спасла дитя твое!» – воскликнула хозяйка и перекрестилась.

Жуан, оставшись наедине с матерью, рассказал ей о том, что было с ним в колодце, больше всего удивилась она тому спокойствию, с каким он об этом рассказывал. Упав в колодец и долетев до воды, три раза опускался он в глубину и три раза подымался на поверхность, пока наконец не нащупал прибитой к стенке колодца узкой и скользкой доски. Кое-как он влез на нее и сел, стараясь не двигаться, потому что от каждого движения гнилая доска гнулась под ним и если бы сломалась, то он утонул бы наверное. Так и просидел на ней, пока не спустили веревку. Петлю нащупав, продел ее под мышки, крепко обеими руками ухватился за веревку и почувствовал, что подымается.

«Страшно было на дощечке сидеть?» – спросила Каталина и тотчас подумала, что лучше бы не спрашивать, не напоминая страшного. Но он ответил все так же спокойно: «Нет, ничего; только за тебя страшно. Ох, мама, какой же я гадкий мальчишка, негодный, что я с тобою сделал! И зачем ты ме-

ня не высекла как следует?..» Губы его задрожали; он готов был заплакать. Но она обняла его и поцеловала так нежно, что он успокоился и, немного помолчав, с радостным любопытством спросил: «Мама, а почему днем звезда?»

«Какая звезда?» – удивилась она.

«Светлая, большая. Когда я на доске сидел, то глянул наверх, а там сине, сине, как ночью, и мигает звезда, точно на меня смотрит. И мне хорошо стало, спокойно, вот как с тобой сейчас...»

Вспомнила Каталина, что если днем из глубины колодца на небо смотреть, то оно кажется темным, как ночью, и на нем горят звезды. «Это была Ее, Пресвятой Девы Марии, звезда; никто, как Она, дитя мое спасла!» – подумала Каталина. Верила она, что сын ее чудом Божиим спасен; но если бы знала, как чудо это будет искажено людьми в грубом и плотском, – самое святое и целомудренно-скрытое в нем бесстыдно искажающим вымыслом, то, может быть, возмутилась бы. В вымысле этом сама Пресвятая Дева Мария держит на руках Своих дитя над водою, пока к нему не спустят веревку. Но если орудием чудотворной силы Божьей были не сияющие руки Богоматери, а черная гнилая доска, то чудо от этого не уменьшалось, а увеличивалось. И, глядя на дневную звезду, может быть, чувствовал Жуан то, что действительно было: «Ангелы – мои, и Матерь Божия – моя!» (Dem., 5–10. Bruno, 4, 378).

Так в бедном фонтиверском домике вспоминала Каталина то, что было пять лет тому назад. Мучилась сомнением, хорошо ли сделала, что не прервала слишком долгой молитвы Жуана, мало спала в эту ночь и теперь, убаюканная воспоминанием, заснула. Но спала недолго, потому что, как это часто бывало с нею, почувствовала вдруг и сквозь сон присутствие Жуана. Открыла глаза и увидела, что, сидя на полу у ног ее и положив голову к ней на колени, он тоже спал с таким же блаженным лицом, как ночью, когда молился, стоя на вязанке колючего хвороста. Мать наклонилась к нему и поцеловала его в голову так тихо, что он, не просыпаясь, только улыбнулся ей, и от этой улыбки лицо его сделалось еще блаженнее.

Благовест умолк уже перед тем, как она заснула. Чтобы не опоздать к обедне, надо было идти тотчас. Но мальчик спал так сладко, что будить его пожалела и подумала, что, может быть, любимый праздник, Рождество Богородицы, отпразднуют они и здесь, в этом бедном домике, так же свято, как в церкви. Чувствовала, что недаром вспомнила, именно в этот день, чудо, которым спасла Жуана Пресвятая Дева Мария. Только теперь, казалось ей, поняла она это чудо как следует; поняла, что в нем совершилось посвящение сына ее в рыцари Прекраснейшей из всех дам, Царицы Небесной.

«Мать Божия, Ты спасла его; да будет же он слугой Твоим во веки веков!» – молилась она и чувствовала, что молитва ее исполнится. И так же, как тогда, пять лет назад, когда она думала, что сын ее погиб, ледяная молния ужаса, – всю ее пронзила теперь огненная молния радости. Радовалась так, как будто уже знала все, что сделает для мира сын ее, св. Иоанн Креста.

В 1553 году Каталина исполнила свой давний замысел переселиться из городка Фонтивероса в большой соседний город Медина-дель-Кампо, где работал Франческо с женою и где надеялась она найти и для себя лучший заработок. Город этот, с пятьюдесятью печатными станками, восьмьюдесятью книжными лавками и множеством школ, был одним из просвещеннейших городов Испании: вот почему Каталина надеялась также, что здесь ей будет легче поместить Жуана в бесплатную школу (Bruno, 52).

Путникам, идущим или едущим на мулах, как ехали Жуан и Каталина по красноватой, знойной и мгливой, окруженной бледными холмами, великой равнине Леона, город, весь розовый, потому что построенный из кирпичей этого цвета, казался одним из тех волшебных городов, что строит в облаках заходившее солнце. В эти дни город этот был одним из богатейших торговых городов Испании, куда на знаменитые по всей Европе трехмесячные ярмарки, *ferias*, съезжались купцы и привозили товары со всего Старого и Нового Света.

Только что Жуан въехал в город, как оглушен был, после фонтиверского затишья, шумом и гамом, изумлен странными одеждами и еще более странными лицами разноплеменной и разноязычной толпы, объединенной только одним — неутолимой страстью к наживе. С жадным любопытством

вглядывался он в только что вынутые из огромных тюков и выставленные в лавках ярмарочной Большой Площади, Plaza Mayor, тончайшие, белые, как снег, французские и голландские полотна, великолепные фландрские ковры, золотисненные кордовские кожи, драгоценные шелковые ткани Гренады и Валенции, сверкавшие радугой на солнце венецианские хрустали и привезенные с островов Западной Индии не виданные в Европе плоды, шкуры зверей и перья птиц, такие же яркие, как тут же выставленные самоцветные камни из чилийских и перувианских копей. Вглядывался с жутким любопытством и в старых менял с крючковатыми пальцами-когтями, считавших золотые реалы и подозрительно испытывавших на зубе добротность монет (Bruno, 8. Varuzi, 75–76).

Вдруг навалился на него всюю громадой своей внешний мир и так подавил его внутренний, что грозил его уничтожить; мнимое Все, Todo, казалось ему действительным, а действительное – мнимым. Вот когда, может быть, уже началась в душе его великая борьба Всего и Ничего.

Я самого себя уже не знаю... я мое бежит от меня, и пустота во мне бесконечная.

Надежда Каталины поместить Жуана в бесплатную школу исполнилась: кажется, очень скоро по приезде мальчик был принят в так называемую Школу Детей Учения, *Colegio de los niños de la Doctrina*, при одной женской обители, где так легко и скоро научился читать и писать, что монахи-ни не могли на него надивиться и «очень полюбили его за остроту ума и способность к учению», вспоминает Франческо (Bruno, 10–377. Varuzi, 76).

Дальше грамоты в школе наука не шла: вот почему, когда Жуан научился грамоте и в школе ему было больше нечего делать, инокини стали посылать его с кружкой для сбора подаяний по городу. «Бедным детям на школу ради Христа!» – повторял он, обращаясь к прохожим, таким ласковым голосом и с такой милой улыбкой, что ему подавали охотнее, чем всем другим сборщикам.

«Экий шустрый мальчонка! Как ни пошлешь, кружка всегда мараведи полна», – радовалась, глядя по голове, старая мать-казначейя (Bruno, 1–376). Года через три сделался он церковным служкою в женской обители св. Магдалины, где также все очень полюбили его (Bruno, 9–376. Alonso, I.I, с. II).

Как-то раз один знатный и богатый гражданин из Толедо, дон Алонзо Альварец, ушедший от мира, чтобы послужить

бедным и больным, случайно увидев Жуана, – ему шел тогда шестнадцатый год, – и сразу, должно быть, угадав, кто он и чем он может быть, – предложил ему сделаться братом милосердия в находившейся под его, донна Алонзо, управлением больницы Св. Антония. Жуан согласился и назначен был в так называемую «Палату Нарывов», *hospital de las bubas*. Кажется, эти злокачественные нарывы происходили от занесенной только что в Старый Свет из Нового, страшной болезни, сифилиса (Bruno, 80. Varuzi, 9–10). Если так, то уже в те годы, когда еще первые мечты любви облакают душу чистых отроков, как веяние ангельских крыл, отрок Жуан увидел разлагающиеся заживо человеческие тела, изъеденные язвою того, что люди называют «любовью». А когда, выйдя из Палаты Нарывов, он шел на ярмарочную площадь, то видел и то, что люди называют «жизнью»: как бегали они и суетились, продавали и покупали, лгали и мошенничали, богатели и разорялись, и как никто из них не вспоминал, что тут же, в двух шагах от них, есть Палата Нарывов, и что каждый из них, рано или поздно, в нее попадет, потому что и сейчас вся его жизнь не что иное, как злокачественный нарыв, который, лопнув, обнажит изъевшую тело до кости гнойную и смрадную язву. Когда все это видел Жуан, то, как тайновидец Откровения, «дивился удивлением великим», в котором, может быть, уже начинался для него «преисподний опыт» Темной Ночи, *experiencia abismal de la Noche Oscura*. Если ясно умом он еще не понимал, то, может быть, уже

сердцем смутно чувствовал, что вся жизнь мира становится, день ото дня, все более похожей на злокачественный нарыв новой, более страшной, чем старая, потому что не одного человека, а все человечество в истоках жизни заражающей, половой чумы – Сифилиса.

В эти дни жил в Медине знаменитый врач, Гомец Перейра, один из основателей врачебной науки как точного знания. «Новая, истинная врачебная наука, основанная на опыте. *Nova veraque medicina, experimentis... comprobata*», по этому заглавию книги Перейры видно, к чему он стремился; видно это и по тому, что говорит другой тогдашний врач, может быть, ученик Перейры, Жуан Гуарте (Huarte): «Мертвой букве каких-либо правил не должны подчиняться врачи. Если Гиппократ, Галиен, или кто-либо другой из великих ученых утверждает одно, а опыт – противоположное, то врачи не обязаны следовать ученым. Опыт... во врачебной науке выше разума, а разум выше чужого мнения, *auctoridad*» (Baruzi, 80). Начатое Перейрой основание не только врачебной, но и всей опытной науки – того, чему суждено было сделаться одной из главных, нового человечества движущих сил – продолжит Паскаль и завершит Бэкон Веруланский.

В книге Перейры «Жемчужины Св. Антония», «*Antoniana Margarita*», собраны клинические наблюдения, сделанные им в Мединских больницах. Если брат милосердия Жуан видел и слышал его, когда он посещал больницу Св. Антония, то мог испытать на себе его влияние, и если уже тогда начал преодолевать мертвую букву церковного догмата, то, может

быть, помог ему в этом Перейра. Опыт для обоих есть главный источник познания – для Перейры в науке, для Жуана в религии. Оба они великие врачи: тот – болезней телесных, а этот – духовных.

Будет Перейра одним из первых основателей и той науки душевных явлений, которая названа будет «психологией». «Тем, кто желает меня понять, – скажет он в начале одного из своих психологических исследований, – я советую познать самих себя, *sese cognoscunt*... потому что здесь дело идет не о внешних явлениях мира, а о тех внутренних явлениях души, которые каждый знает лучше всего по себе самому», – *изнутри* (Baruzi, 81). К внутреннему от внешнего – этот путь Перейры тот же, как у св. Иоанна Креста и у св. Терезы Иисуса. Веющий в те дни над миром дух новой жизни соединяет здесь науку с религией.

Во время опустошавшей Медину страшной повальной болезни, которую Перейра называет «чумной лихорадкой», *febris pestifera*, Жуан ухаживал за больными так самоотверженно, подвергая жизнь свою беспрестанной опасности, что управитель больницы, дон Алонзо, в знак особой милости, разрешил ему посещать высшую, подготовительную к университету школу Иисусова Общества, *Colegio de la Compania de Jesus*, где, в течение пяти лет, он изучал сперва грамматику и «риторику», т. е. латинскую словесность, потом весь круг так называемых «свободных» – не богословских, а мирских наук и, наконец, философию (Barusi, 78–81. Bruno, 12). В школе, впрочем, он мог заниматься только урывками, в свободные от больничных занятий, а дома только в урезанные от ночного отдыха часы.

Как-то раз Каталина, зайдя ночью в больницу, чтобы повидать сына, долго искала его и не могла найти, как вдруг увидела его сидящим с книгой в руках на вязанке приготовленного для печки хвороста и вспомнила, может быть, как, лет семь назад, в бедном фонтиверском домике, застала его стоящим на коленях на такой же вязанке хвороста и погруженным в молитву. Но не было теперь на лице его такого блаженства, как тогда, а было то жалкое, потому что напрасное, усилие, которое свойственно всегда ищущей и никогда

не находящей человеческой мысли; мука сомнения была теперь в этом лице вместо блаженства веры (Barusi, 85. Grupo, 13–378).

Главным и любимым учителем Жуана в иезуитской школе был почти ровесник его, двадцатилетний юноша, о. Жуан Бонифачио, вдохновенный апостол новых «человеческих наук», *humanities*, влюбленный в древнюю латинскую словесность, особенно в поэзию Вергилия, которая была для него как бы вторым Священным Писанием. Когда начальники Иисусова Общества предложили ему покинуть школу, чтобы заняться изучением высшей теологии, о. Бонифачио ответил: «Нет, я дурно поступил бы, если бы покинул то, что, я чувствую, приносит душе моей наибольшую пользу... В этом служении латинству, *latinizado*, я хочу умереть, потому что Господь оказал мне великие милости в нем» (Barusi, 81. *Astrain, Hist. d. I. Comm. de Jes.*, 1918, IV, 106).

Так, те юные годы, когда человеком для всей будущей жизни его избирается путь, Жуан провел между святым врачом, Гомецом Перейрой, и святым гуманистом, о. Бонифачио.

В 1563 году, когда наступило совершеннолетие Жуана, дон Алонзо, чтобы отблагодарить его за все, что он сделал для больницы, предложил ему место капеллана в больничной церкви с доходом достаточным для того, чтобы не только его самого, но и мать его на всю жизнь обеспечить, и очень удивился, когда Жуан от этого места отказался; и больше еще удивился, когда, сказав ему, что он был бы недобрым сыном, если бы мать свою, которая столько за него страдала и столько для него сделала, не успокоил на старости лет, он взгляделся в лицо его и увидел, что Жуан слышит его и не слышит, как будто о чем-то своем, более для него важном думает. Долго не мог понять дон Алонзо, что это значит; вдруг вспомнил: «Кто не возненавидит отца своего и мать свою... тот не может быть Моим учеником». Эти слова всегда ужасали его, а теперь ужаснули так, как еще никогда. «Вместе прожили шесть лет, а ведь я его почти не знаю», — подумал он с горечью тайной обиды, потому что Жуан, уходя, даже не поблагодарил его как следует.

Кажется, о действительной причине отказа его от капелланства лучше всего можно судить по воспоминаниям очевидца этого дела: «День ото дня пламенел он все больше любовью к непорочной Деве Марии. Encendiéndose de día en día mas el amor ardiente de la immaculada Virgen Maria». «К это-

му делу (капелланству) не чувствовал он никакого призвания, потому что хотел более удалиться и сосредоточиться, *deseaba apartarse más y apretarse más»* (Bruno, 16–379. Baruzi, 91). «Братство Кармеля совершенно Мариино, *ordo Carmeli totus Marianus est»*. Вот почему и решает войти в него «любовью к непорочной Деве Марии пламенеющий» Жуан.

Ночью, однажды, «тайно ото всех», *muu secretamente*, по воспоминанию тех же свидетелей, – значит, вероятно, не сказав ничего никому, ни даже брату и матери, ушел он из больницы Св. Антония в кармелитскую обитель Св. Анны, где решил постричься (Bruno, 9–379).

A oscuras y segura

Por la secreta escala disfrazada...

В темноте безопасной,

По лестнице тайной, невидимый, —

О, неожиданное счастье! —

В темноте я бежал потихоньку,

Когда все успокоилось в доме моем, —

может быть, вспоминает он в «Темной Ночи», «*Noche Oscura»*, об этом первом исходе своем из мира (Baruzi, 444. Hoorn., 5).

В том же 1563 году, 24 февраля, в день Св. Евангелиста Матфея, пострижен был в иноки Братства Кармеля Жуан де Иэпес, под именем Жуана дэ Санто Матиа. Сами постригаемые, в те дни, избирали имена свои в монашестве. Соедине-

нием этих двух имен – первого евангелиста, Матфея, и последнего – Иоанна, Жуан предрек весь путь духовной жизни своей: от первого возвещения христианства к последнему его исполнению, от Евангелия к Апокалипсису, от настоящей Римской Церкви к Будущей Церкви Вселенской.

Когда, стоя на коленях перед жертвенником, только что облеченный в нижнюю черную рясу и верхнюю, белую, как бы под солнечную, белую ризую самой Царицы Небесной, Жуан произносил обет «послушания, целомудрия и бедности Богу и Блаженной Деве Марии Горы Кармеля, *Beatae Virgini Mariae de Monte Carmelo*», – может быть, впервые лицо его озарилось светом того, что некогда будет «неземным восторгом», Экстазом св. Иоанна Креста.

Вдруг, подняв глаза, увидел он, как луч, упавший от лампы на золотую дароносицу, затеплился звездой в янтарном сумраке, и вспомнилась ему увиденная им из глубины мединского колодца, чудесного спасения вестница, Дневная Звезда.

Ave Maria пели иноки, а Жуан шептал свою, только что в сердце его рожденную молитву:

Ave Stella Diurna!

Радуйся, Звезда Дневная!

Радуйся, Матерь Всепетая!

Радуйся, Дева Пречистая,

Всех упавших в колодец спасение!

Знал он, что, сколько бы ни погружался в глубокие воды колодца, – вынырнет, увидит Дневную Звезду и будет Ею спасен.

Так исполнилась молитва Каталины: «Мать Божия, сына моего Ты спасла; да будет же он слугою Твоим во веки веков!»

Иноки обители Св. Анны принадлежали к Братству Обу-
тых, Calzados, соблюдающих новый, «смягченный» устав,
mitigatus. «Но Жуан и среди них жил по древнему уставу
Кармеля, с крайнею суровостью, mucho rigor», – вспоминают
свидетели (Baruzi, 92). Так начал он один, за свой собствен-
ный страх, великое дело Реформы (Dem., 25).

Главную целью его уже и тогда было совершенное от всего
«обнажение», desnudez, потому что вершины Кармеля может
достигнуть только «от всего обнаженный, ничего не желаю-
щий» desnude de todo, sin querer nada (Baruzi, IX – 364). Чув-
ствуя, может быть, что Обутые смотрят на него косо за оди-
нокое усилие его к совершенству, он, кажется, решил, уже в
эти дни, перейти в Картезианское Братство с уставом более
строгим, чем у Обутых Кармеля (Baruzi, 92).

В 1564 году, когда миновал первый год послушничества
его, старшие в Братстве отправили его в Саламанкский уни-
верситет. Если верить свидетельству «Апостолической Тяж-
бы», должно быть, только общему месту житий, поспешили
они сделать потому, что «угадывали в нем будущую славу
Кармеля» (Dem., 25). Но, может быть, на самом деле уже и
тогда, как столько раз потом, Обутые, от совершенства от-
казавшиеся, хотели избавиться от того, кто в подвиге совер-
шенного монашества был для них только бельмом на глазу.

В эти дни Саламанкский университет своим влиянием на весь христианский мир затмил двух великих соперников своих – университеты Болонский и Парижский. Более пяти тысяч студентов собралось в него со всех концов не только Испании, но и всей Европы. В поисках новых путей он вернулся от мертвой схоластики к живым источникам веры – Св. Писанию, Отцам Церкви и к тому, кого Тридентский Собор ставил наравне с Писанием, – Ангельскому Учителю, Doctor Angelicus, св. Фоме Аквинскому (Bruno, 37–38).

Брат Жуан дэ Санто Матиа, по прибытии в Саламанку, поступил в Кармелитскую высшую школу, *stadium generate*, Св. Андрея, входившую в состав университета как один из его факультетов (Bruno, 28).

Два течения, старое и новое, боролись в университете. Сказывались эти два течения всего нагляднее в борьбе двух языков – церковного, латинского, и народного, испанского, или, точнее, кастильского, наиболее тогда совершенного из всех испанских наречий. Старые профессора, особенно теологи, стояли за латинский язык, а молодые, так же как огромное большинство студентов, – за кастильский. Струны студенческих гитар пели в ночных серенадах любовно-пастушеские песни двух тогдашних кастильских поэтов, Боскана и Гарчилазо (Boscan, Garcilaso). Новая, на древнее рабство в Церкви восстающая свобода мира славилась в этих, как будто еще невинных, а на самом деле уже опасных для Церкви, потому что мятежных, песнях.

С кем был в этой борьбе языков молодой бакалавр, Жуан дэ Матиа? Судя по тому, что все его книги будут написаны не на мертвом, латинском, а на живом, испанском языке, он, вероятно, сделал выбор этого языка уже тогда, в студенческие годы. Если св. Иоанн Креста будет одним из величайших поэтов Испании, то этим он обязан только Богу и себе; но языком, орудием поэзии, обязан он уже в те годы сделанному выбору (Baruzi, 89–102).

Та же борьба двух течений, старого и нового, происходила и в ученом споре между теологами – схоластиками и более свободными исследователями Св. Писания (Bruno, 43). Судя опять по тому, что книги св. Иоанна Креста будут написаны в духе свободного исследования, он был уже и тогда, в Саламанкском университете, защитником новой свободы против старого гнета церковной схоластики. «Я буду пользоваться для выражения мыслей моих богословием Школы (Схоластикой)», – скажет он в начале одной из наиболее свободных книг своих, «Песни Духа», *Cantico Espiritual* (Bruno, 41–383). Но схоластика будет для него только старой формой, ледяным, хрустальным сосудом, в который вольет он огненное вино нового религиозного опыта.

Инок Августинова Братства, великий богослов, поэт, музыкант и астролог, Луис дэ Лэон, был одним из лучших и наиболее студентами любимых профессоров Саламанкского университета. Обвиненный Св. Инквизицией за перевод «Песни Песней» на испанский язык и, кажется, причислен-

ный к еретикам, Иллюминатам, los Alumbrados, – так назывались тогда в Испании тайные ученики Лютера и Кальвина, – он заточен был на пять лет в тюрьму, а когда, выпущенный из нее, вернулся в университет, то встречен был учениками с еще большей любовью.

В огромной аудитории, где собралась тысячная толпа студентов, наступила вдруг такая тишина, что слышно было бы, как муха пролетела, когда в первый раз, после пятилетнего отсутствия, вошел снова на кафедру их любимый учитель. Видно было по изможденному лицу его, чего ему стоили эти пять лет заточения. Но когда начал он говорить, продолжая урок с того самого места, на котором остановился пять лет назад, то в голосе и в лице его было такое спокойствие, как будто этих страшных лет для него не было вовсе (Baruzi, 127–129. Bruno, 43. Dem., 166. Villemain, Essai sur le génie de Pendare, 495). Новый дух мирской свободы одержал в эту минуту такую победу над старым духом церковного рабства, что кости Торквемады, Великого Инквизитора, должны были бы перевернуться в гробу. Если в благоговейной толпе учеников Луиса дэ Лэон был и Жуан дэ Санто Матиа, то, может быть, он почувствовал это веяние духа и лучше понял, чем когда-либо, что значит: «Где Дух Господень, там свобода».

После того как в 1558 году вышла первым полным изданием на латинском языке книга Кальвина «Установление христианства», «*Institutio Christianismi*», меньше, может быть,

говорили в Саламанкском университете о св. Фоме Аквинском, чем о Кальвине. Много, должно быть, слышал о нем и Жуан дэ Санто Матиа и, может быть, чувствовал, как страшная мысль Кальвина «должное получает Бог только тогда, когда человек совсем уничтожен» приближается, хотя и обратной близостью, к собственному религиозному опыту его: «Все и Ничто» (Hoorn., X – XIII).

За три студенческих года, от 1564 до 1567, продолжая начатое в иезуитской школе Медины дэль Кампо образование, Жуан изучал латинскую словесность, логику, физику, этику по Аристотелю и высшую теологию по св. Фоме Аквинскому. Но так же, как некогда на Мединской ярмарке, в том, что люди называют «жизнью», он и теперь, в Саламанкском университете, в том, что люди называют «знанием», может быть, уже предчувствовал, что человеческое, мнимое Всё есть действительное Ничто, и уже подходил к тому последнему выводу из всего человеческого знания, который сделает некогда в «преисподнем опыте» своем, *experiencia abismal*:

Я самого себя не знаю... я мое бежит от меня, и пустота во мне бесконечная; а все же, в незнании моем, я выше всякого знания.

Может быть, уже и тогда приближался он к великому открытию своему – вечному в мире взаимодействию премирных начал – Ничего и Всего, как бы двойному шествию Ангелов, нисходящих и восходящих по лестнице Иакова.

В 1567 году произошло событие, решившее судьбу Жуа-

на, – встреча его с Терезой Иисуса. Кажется, оба они сразу не поняли, какое значение будет иметь эта встреча не только для них самих, но и для всего великого дела Реформы, а когда поняли, то не могли не увидеть, что встреча их есть чудо Божьего Промысла.

«Не добро быть человеку одному» – это, вероятно, чувствовал Жуан, в иные минуты жизни своей, так, как никто. Не было, может быть, человека более одинокого, чем он. «Мужество у него великое, но он всегда один, *mas es solo*», – скажет о Жуане Тереза. Глубже колодца мединского был для него черный колодец одиночества; чудом Божиим спасся он из того, и из этого – таким же чудом – встречей с Терезой.

После этой встречи он и начнет великое дело всей жизни своей – Реформы – может быть, ему самому еще невидимый, но уже действительный путь от настоящей Римской Церкви к будущей Церкви Вселенской.

Тотчас после свидания с Терезой Жуан вернулся в Саламанку, кончил университет, принял в Мединской обители Св. Анны рукоположение в священники и отправился в глухое местечко Дуруэло близ города Авилы, у подножия Сиерры дэ Гредос, где только что Тереза основала первую мужскую обитель Нового Кармеля.

Тихие, светлые луга, тихие, темные рощи, воздушно-синеющая вдали и всегда убеленная снегами горная цепь Сиерры – все в Дуруэло напоминало Жуану родной Фонтиверос, но, вместо тамошних болотных лагун, здесь было множество чистых, как слеза, и холодных, как лед, родников, наполнявших воздух и в самые знойные, летние дни райскою свежестью.

Радоваться будет, Возлюбленный,
 Будет глядеться в твою красоту
 На пустынных горах и холмах,
 Там, где бьют родники;
 В чашу леса войдем...

В этих стихах «Песни Духа» (Bruno, 240–425), может быть, вспоминает Жуан Дуруэло так же, как в «Темной Ночи» и в «Живом пламени любви»: «Мудрости тайно видящей свойственно скрывать душу в себе... Мудрость эта по-

гружает ее в неисповедимую бездну, где чувствует себя душа тайно от всей твари далекой, как только возможно... Это уединение кажется ей безграничной пустыней, тем более блаженной и любовной, чем она... безграничнее, и чувствует себя в ней душа тем более скрытой, чем выше возносится надо всею тварью».

Только там, в пустыне, «душа вкушает свободу в святом неделании сынов Божиих (Ангелов), потому что сам Бог зовет ее туда» (Hoorn., 148–213).

В тихие звездные ночи, когда Млечный Путь мерцал над снежную черную цепью Сиерры, может быть, вспоминал Жуан пифагорейскую музыку сфер:

La noche sosegada...

La música callada.

Ночь успокоение...

Безмолвная музыка,

Пустыня, полная гармонии (Baruzi, 633–639).

«Новым Вифлеемом был Дуруэло», – скажет Тереза, но вернее было бы назвать его «вторым из двух новых Вифлеемов», потому что первым была Ривотортская убогая «хижина», tugurium, Св. Франциска Ассизского: здесь, в Дуруэло, так же как там, в Ривоторто, христианство возвращалось, или хотело возвратиться, к исходной точке своей – к рождению Бога младенца в яслях, к совершенной нищете и «наго-те», desnudez (Baruzi, 161).

Ужас внушило сначала Терезе самоумерщвление дуруэльских подвижников. «Диавол, может быть, искушает их чрезмерностью подвигов», – думала она, но, пристальней взглядевшись в них, поняла: «Радость их так велика, что и самое трудное для них делается легким, *con el contento todo se les hacía roso*» (Baruzi, 163). Иго Мое благо и бремя легко» – это чувствовал Жуан как никто; но какого труда стоила ему эта легкость, видно по таким свидетельствам, как это: однажды брат Жуан Креста, Juan de la Cruz (именем этим начал он впервые называть себя в Дуруэло, может быть, в знак того, что здесь только вступил по-настоящему на путь Крестный), брат Жуан Креста, больной, усталый и голодный, попросил у игумена благословения поужинать раньше общей для иноков трапезы. Но когда поужинал, то вдруг овладело им такое раскаяние, как будто совершил он смертный грех, и, войдя в трапезную, где ужинала братия, он упал на колени на кучу принесенных им острых камней и начал ударять себя по обнаженной спине и плечам толстой, с узлами, веревкой, с такою силою, что на рубцах от веревки выступила кровь, и на пол натекла большая лужа крови.

«Братья мои, – говорил он, – я совершил великий грех чревоугодия и уже недостоин святого общения с вами. Молитесь же, чтобы Господь простил меня и помиловал...»

В ужасе, молча, смотрели иноки на это самоистязание, пока, наконец, игумен не велел ему, именем святого послушания, прекратить эту лютую казнь, пойти к себе в келью и по-

молиться, чтобы Господь простил им грехи бесконечно большие, чем тот, в котором он каялся (Bruno, 92).

Что это, – жалкое монашеское безумие или, в самом деле, то, чему ужасалась Тереза – «искушение диавола чрезмерностью подвига»? Нет, что-то совсем другое, и, чтобы это понять, надо глубже вдуматься в сделанный Жуаном, «преисподний опыт» Зла. «Все равно, толстою или тонкою ниткою привязана птица за лапку, она не может возноситься к Богу, если от греха не избавится» (Bruno, 206–418. Subido, I. I, с. 2. Dem., 134). Это значит: нет зла, великого и малого, а есть только добро или зло, и вечная, метафизическая мера их определяется не количеством, а качеством.

То же, что сделает Лейбниц в математике открытием дифференциального исчисления, сделал и св. Иоанн Креста в религии открытием бесконечно-великого значения бесконечно-малых величин добра и зла. Страшное дуруэльское самоистязание его, как будто из-за пустяка, есть, на самом деле, открытое им осуществленное в религиозном опыте, «дифференциальное исчисление» зла и добра.

Следующие семь лет жизни Жуана, от 1570 года до 1577-го, не освещены почти ни одним историческим свидетельством. Почему переселяется он, в 1570 году, из Дуруэло во вторую мужскую обитель Нового Кармеля, основанную Терезой в Манцера (Mabsera), а затем в третью – в Пастрана? Почему, в 1571 году, уходя из пустыни к людям, делается ректором кармелитской школы в городе Алкала? (Dem., 63.

Baruzi, 164, 170). На эти вопросы нет ответа в исторических свидетельствах.

В 1572 году Тереза вызвала Жуана в обитель Благовещения в городе Авила, где поселился он в убогой хижине на окраине больших монастырских садов и сделался духовником обители (Dem., 66). Как жил он здесь, в течение пяти лет, остается тоже неизвестным, может быть, потому, что из внешнего мира он ушел во внутренний. Только по книгам его можно отчасти судить о том, что он пережил и сделал за эти годы: всходил, на вершину Кармеля, к высшей, доступной людям точке религиозного опыта – к Богосупружеству, Теогамии (Baruzi, 175–176).

С 1570 года начавшееся гонение Обурых на Босоногих особенно усилилось, когда Иоанн Креста соединился с Терезой. Думая, что она без него не могла бы сделать ничего, решили они обезглавить Реформу, заточив его в вечную тюрьму, а в случае нужды и умертвить.

В 1577 году, в ночь на 4 декабря, Обурые с ратными людьми, посланными, должно быть, авильским корреджидором, окружили тот деревянный домик в саду Благовещенской обители, где жил брат Жуан с братом Германом, ворвались в их кельи, схватили обоих братьев «как злодеев», отвели в свою обитель тут же, в г. Авиле, и жестоко избили. В домике сделали обыск и унесли найденные бумаги. К счастью, брат Жуан успел их уничтожить, а опаснейшие даже съесть, чтобы и следа от них не осталось. Судя по этому, враги могли возвести на него такие обвинения, в которых было бы ему нелегко оправдаться (Baruzi, 178–182).

В ту же ночь отвезли его в Толедо, в тамошний монастырь Обурых и посадили в тюремную келью, тесный и темный чулан, с маленьким и, под самым потолком, решетчатым оконцем, подобие гроба, где ему было суждено пробыть около девяти месяцев (Bruno, 173).

Каждую пятницу водили его в трапезную. Сидя на полу, он ел только хлеб и пил воду, а по окончании трапезы иноки

подходили к нему и каждый, по очереди, ударял его бичом по обнаженной спине. Били так жестоко, что вся спина была в ранах, и когда он надевал рясу, она прилипала к окровавленному телу (Bruno, 175. Dem., 76). В пище, которую ему приносили в тюрьму, был такой страшный вкус, что она казалась ему отравленной, и он со дня на день ждал смерти (Bruno, 175. Dem., 76).

Часто и подолгу начальники братства убеждали его вернуться от Босоногих к Обутым, соблазняли обещаниями сделать игуменом в какой угодно избранной им обители; уверяли, что Реформа осуждена Церковью и что, продолжая упорствовать, он будет повинен в смертном грехе непослушания и бунта против Церкви.

«Я не отрекусь от Братства Босоногих, если бы это мне и жизни стоило!» – отвечал он на все убеждения, и «в этом был тверд, словно камень», вспоминает свидетель (Bruno, 174–407).

Наступило невыносимо жаркое лето. Тесная тюремная келья Жуана сделалась «чистилищем смрада и зноя». К довершению всего, он заболел кровавым поносом (Bruno, 183). Но все его телесные муки были ничто по сравнению с душевными. Иногда, нарочно открывая дверь его тюремной кельи и говоря в соседней комнате так громко, чтобы он мог слышать, иноки поздравляли друг друга с радостною вестью, что дни Реформы сочтены, потому что христианнейший король Филипп II соединился со Св. Престолом, чтобы ее уничто-

жить (Bruno, 175–408). Очень вероятно, что бывали такие минуты, когда, слушая эти беседы, чувствовал себя Иоанн таким же еретиком и мятежником, отлученным от Церкви, как Лютер и Кальвин, и тогда находил на него ужас вечной гибели.

«Страшное делает Бог с тем, кто любит Его, но жаловаться им нельзя, потому что Он сделал еще страшнейшее с Единородным Сыном Своим», – скажет св. Тереза Иисуса; то же бы мог сказать и св. Иоанн Креста, в своем толедском аду.

«Он мне говорил, что не было ему в тюрьме никакого утешения от Бога; все страшно – и душа, и тело одинаково», – вспоминает одна из духовных дочерей Иоанна. «Многими годами заточения не мог бы я заплатить и за одну из тех милостей, дарованных мне Господом в тюрьме», – вспоминает он сам (Baruzi, 184. Bruno, 178). Эти два воспоминания, как будто противоречивые, на самом деле согласны: не «утешения» были для него «милостью Божьей», а безутешность – та Темная Ночь «преисподнего опыта», которая была ему необходима для восхождения на вершину Кармеля.

О, как я знаю этот Родник,
В темной ночи от уст моих убегающий!

Que bien sé yo la fonte que mane y corre.
Aunque es de noche! (Bruno, 181–411).

В этих стихах, может быть, вспоминает он о Толедской

тюрьме так же, как и в этих:

Куда Ты скрылся, Возлюбленный,
Покинул меня, безутешного?.. (Bruno, 177).

Очень важная была для него перемена тюремщиков. Первый из них, человек суровый, никуда не выпускал его из тюрьмы; милостивее был второй, брат Жуан дэ Санта Мария: когда иноки отдыхали в часы полуденного зноя, он позволял ему выходить из тюрьмы в соседнюю большую горницу, чтобы подышать чистым воздухом; но как только слышал, что спавшие проснулись, просил его вернуться в тюрьму, и Жуан покорно шел в нее, но, проходя мимо тюремщика, ласково брал его за руки, смотрел ему прямо в глаза с той обаятельной улыбкой, которой немногие могли противиться, и так горячо благодарил, что слезы навертывались в глазах тюремщика (Bruno, 182). «Раньше я его никогда не знал, но, видя духовную силу его в страданиях, я понял, что он – святой, *le tuve por un alma santa*», – вспоминает брат Жуан дэ Санта Мария (Baruzi, 187).

Сначала позволял он узнику ходить только в соседней с тюремной кельей большой горнице, а потом и во всех остальных, где он только хотел. Каждый раз, как тюремщик оставлял его одного, он потихоньку вывинчивал гвозди из петель наружного на тюремной двери замка, но не вынимал их совсем, а оставлял ослабевшими в петлях так, чтобы, нажав на дверь изнутри, легко было открыть ее, даже когда замок был заперт. Делал он это так искусно, что ничего нельзя было за-

метить, а если и можно, то, должно быть, тюремщик не хотел замечать, потому что был его сообщником в мыслях о побеге (Bruno, 186. Varuzi, 187).

Чтобы читать молитвенник и есть скудную пищу свою при свете, тюремщик дал ему лампаду, а также иглу и ниток, чтобы чинить одежду. Может быть, эти три вещи – лампада с железной ручкой в виде крючка, игла и нитки – внушили узнику первую мысль о побеге (Demim., 83).

Как-то раз, зайдя в одну из галерей, он увидел окно, выходящее на пустынный берег быстрой и бурной, как горный поток, реки, Таго, протекавшей внизу, под самыми стенами обители. Круча под окном была такая, что, когда заглянул в нее, голова у него закружилась. Но он все-таки выбрал это окно для побега, потому что лучшего не было, выбрал и ночь. Накануне вырезал из одеял, простынь и одежды длинные, узкие полосы, накрепко сшил их концами, скрутил наподобие веревки, сделал петлю и прицепил к ней железный крючок (Bruno, 186).

Все уже было готово, когда вечером неожиданно приехал в обитель провинциальный викарий Кастильского Братства Обутых, о. Джеронимо Тостадо, с несколькими братьями. В кельях не было места для всех, и в большой горнице, почти у самых дверей тюремной кельи, поставили койки для двух братьев.

Что было делать Жуану? Откладывать побег слишком опасно: стоило только зайти кому-нибудь в тюремную келью

его, чтобы увидеть приготовления к побегу; а если не откладывать, то как пройти между койками так, чтобы не разбудить спящих? После долгих колебаний он решил все-таки бежать.

Ночью, подождав, чтобы братья улеглись и заснули, он приоткрыл дверь. Сделал это очень осторожно, но все-таки едва державшийся на отвинченных петлях замок упал с таким громким стуком, что спящие проснулись, вскочили на койках и воскликнули: «Кто идет?»

Жуан ничего не ответил, и одолеваемые первым крепким сном братья, снова повалившись на койки, глубоко заснули.

Он прошел мимо них. Но, еще не доходя до двери в соседний покой, вдруг вспомнил, что эта дверь всегда запиралась на ночь. Если и теперь была заперта, то все пропало – побег не удался. Но, подойдя к двери, увидел, что она открыта настежь. Ночь была такая душная, что иноки, ложась, решили оставить дверь открытой для свежего воздуха. Это ободрило его как знак того, что чья-то неусыпная забота ведет его и спасает.

Пройдя в темноте ощупью несколько покоев и галерей, увидел он в конце последней тускло синевший на звездном небе четырехугольник выбранного им для побега окна. Подойдя к нему, зацепил железный крючок лампы за деревянную перекладину на кирпичном подоконнике, спустил веревку, перекрестился, вылез из окна и, крепко обеими руками ухватившись за веревку, начал спускаться по ней.

Страшно качалась веревка; страшно скрипела наверху гнущаяся, должно быть, перекладина; страшно шумели внизу бурные волны реки. Ниже, все ниже спускался. Вдруг почувствовал, что веревка почти кончилась. Глянул вниз и увидел, что до земли еще далеко – сажени две. Что делать? Отпустить веревку, упасть и, может быть, разбиться насмерть или опять лезть наверх, чтобы вернуться в тюрьму, где его замучают, наверное, тоже до смерти? «Нет, – подумал, – лучше все, чем это!» Отпустил веревку, упал на кучу камней и лишился чувств, а когда очнулся, то увидел, что лежит на такой круче, что если бы чуть-чуть подальше упал, то слетел бы прямо в омут реки.

Встать хотел, но не мог: такая боль была во всем теле. Кое-как пополз на четвереньках по узкой между рекой и стеной монастыря обходной тропинке, увидел на куче мусора и кухонных отбросов собаку, глодавшую кость. Бросил камнем в нее, чтобы узнать по тому, куда она убежит, где и ему можно было бы пройти. К низенькой стене убежала она и перескочила через нее. Преодолевая боль, он встал и подошел к стенке, но был так слаб, что не мог через нее перелезть. Сделав несколько шагов, увидел в стене дыру и пролез в нее на какой-то большой двор, над которым в звездном небе чернели купола бывшей арабской мечети, нынешней церкви. Не зная, куда идти, лег на землю и опять лишился чувств.

Что было потом, хорошенько не помнил. Полз, шел, падал, вставал, и опять шел, – все это, как в бесконечном и

страшном сне.

Начало уже светать, и слышался благовест Ave Maria, когда вышел на какую-то пустынную площадь, где старая женщина, должно быть торговка, открывала ставни на окнах лавки. Подойдя к ней, спросил, как пройти в женскую обитель Нового Кармеля. Глядя на него с испугом, как на выходца с того света, она указала ему путь. Он пошел, еле двигая ногами и на каждом шагу боясь упасть и уже не встать. К счастью, обитель была лишь в нескольких шагах. Подойдя к двери, он постучался. Мать-привратница, Елеонора дэ Джезу, духовная дочь его, открыла ему и, не узнав его, взглянула с таким же испугом, как давешняя женщина на площади.

«Дочь моя, – проговорил он, и, вдруг узнав его по голосу, вся она задрожала от радости. – Это я, брат Жуан Креста. Я только что бежал из тюрьмы Обурых. Ступайте скорее к матери игуменье, скажите ей, что я здесь, и попросите ее спрятать меня хорошенько, потому что братья Обурые, если найдут меня, то растерзают на части...» (Bruno, 186–188. Dem., 84–85).

Мать Елеонора, впусив его и заперев дверь на все замки, побежала за игуменьей. Брата Жуана отвели в надежный тайник и спрятали так, что когда, часа через два, гнавшиеся за ним Обурые ворвались в обитель, то сколько ни искали, не могли его найти.

«Вижу теперь воистину, что Господь послал Ангела своего и избавил меня», – мог бы сказать св. Иоанн Креста, как

освобожденный из Иродовой темницы ап. Петр (D. A., 12, 11).

«Брат Жуан говорил об этом так, что можно было понять, что освобождение его было чудом, *librado milagrosamente*, хотя в смирении своем он и не говорил... что Матерь Божия помогла ему в этом случае или других подобных, потому что в таких свидетельствах он был очень сдержан, *ega mi recatado en estas cosas*», – вспоминает о. Жуан Евангелиста, один из ближайших учеников Иоанна Креста (Baruzi, 294). «Сдержан» был, может быть, потому, что предчувствовал, как глубоко кощунственно люди искажут то, чего он не хотел называть «чудом». Но сколько бы он ни скрывал от людей, боясь их кощунства, нет никакого сомнения, что в жизни его были три чуда: спасение из мединского колодца, встреча с Терезой и освобождение из Толедской тюрьмы. Все эти три чуда вели его на вершину Кармеля, туда, где горит Звезда Путеводная всех упавших в колодец Спасительница, всех одиноких Спутница и всех заточенных в темницу Освободительница, Пресвятая Дева Матерь Божия.

Отдохнув от тюрьмы и побега, Иоанн Креста отправился в маленькую, глухую обитель Кальварию у подножия Сиерра Морена, куда назначен был игуменом. Обитель находилась на севере Андалузии, в диком ущелье, у истоков Гвадалквивира, где ослепительно-белые на темно-синем небе горели громоздящиеся исполинские глыбы красного мрамора, темные кущи столетних дубов, гулу далекого приборья подобный, протяжный гул сосен, шум водопадов, клекот орлов, – все внушало то святое чувство уединения, которое так любил Иоанн Креста: «Чем пустыня безграничнее... тем она блаженнее».

Около шести месяцев прожил он в Кальварии. Если верить одному из ближайших учеников его, о. Андреа дэ ла Энкарнационе, «здесь взял он перо в руки» и начал писать или, точнее, записывать беседы свои с учениками. Записи эти, может быть, вошли в «Песню Духа» и «Восхождения на гору Кармель», так же как в начатую еще в Толедской тюрьме и конченную здесь же в Кальварию, «Темную Ночь» (Baruzi, 195–197).

Иногда посещал он женскую обитель Нового Кармеля в соседнем местечке Бэасе, а в 1579 году, покинув навсегда Кальварию, переселился в город Баэцу, где преподавал теологию в тамошней недавно основанной школе.

В 1582 году умерла Тереза. Как пережил Иоанн Креста смерть этого единственно близкого ему человека, об этом никакого воспоминания не уцелело, что лучше всего дает меру нашего общего незнания об этих годах жизни его. Десять лет, от 1578 года до 1588-го, от Кальварии до Сеговии, – такой же темный, никакими историческими свидетельствами не освещенный, провал в жизни Иоанна, как и те семь лет, от 1560 года до 1577-го, от Саламанки до свидания с Терезой. Может быть, причина этого та же и теперь, как тогда: внешний мир для него поглощается внутренним так, что того уже почти не видно из-за этого.

В 1582 году отправляется он из Баэцы в Гренаду, в тамошнюю обитель Св. Мучеников, Los Mártires (Bruno, 241), куда назначен тоже игуменом.

Большей противоположности, чем святая пустыня Кальварии и город Гренада, весь грехом пламенеющий, как огненно-красный цветок того же имени, – нельзя себе и представить. Восемь веков арабского владычества мавров оставили такой неизгладимый след на Гренаде, что злая и глупая прихоть короля Филиппа II – лютое гонение на мавров – не могла стереть этого следа. Древние мечети опустели или превращены были в христианские церкви. Слава единому Богу Аллаху – не пели муэдзины с высоты минаретов. Но Гренада оставалась все еще тем, чем была, – священным городом Ислама. Все еще, в лунные ночи, в садах запустевшей Альгамбры так же сладко, как в дни Шехерезады, пели соловьи,

журчали фонтаны, благоухали розы; так же в куполах беседок и теремов свешивалось белыми сталактитами тончайшее алебастровое кружево, и так же мерцали в лунном свете, на изразцовых стенах, золотые надписи из Корана.

Кажется, здесь, в Гренаде, Иоанн Креста впервые почувствовал влияние Востока. В книге арабского теолога Магомета Аль-Газеля (Algazel) «Пещера Лампад», *Mishkat Al-Anavar*, тот же смысл, как в учении Корана: «Бог Единый», Аллах, Свет небесный и земной, подобен свету лампад в пещере». Судя по тому, что и в книге Иоанна Креста, «Живое Пламя Любви», «*Flama de amor viva*», повторяется символ «Пещера Лампад», он, вероятно, знал книгу Магомета Аль-газеля, а может быть, и книги других арабских теологов. Если так, то возможное влияние Плотина и несомненное влияние св. Дионисия Ареопагита сливаются у Иоанна Креста с влиянием ислама уже не в католическом, римском, а во все-ленском христианстве (Bruno, 274–434).

Кажется, не случайно именно здесь, в Гренаде, святом городе ислама, начал писать он «Живое Пламя Любви», ту из книг своих, которая ближе всех к высшей, доступной людям ступени религиозного опыта – Богосупружеству (Baruzi, 204).

В 1588 году Иоанн Креста отправляется в Сеговию, в тамошнюю обитель Нового Кармеля, куда назначен игуменом. Почему покинул он Гренаду и как жил в Сеговии, опять неизвестно. Только два воспоминания уцелели об этом. Вот

первое: «Жизнь его в Сеговии была такою небесною, что казалось, он уже не в теле» (Вагузи, 217). А вот и второе: «Ночи свои разделял он между часами, проведенными в часовне и у окна кельи» (Вагузи, 216). Может быть, смотрел из него на бесконечную Сеговийскую равнину, белевшую от лунного света, как от снега, и слушал доносившееся издали пение любовных серенад. «Часто брат Жуан Креста вдохновлен был услышанными в лунной ночи, на улицах, любовными песнями», – вспоминает другой свидетель (Врунпо, 409).

Может быть, в ту же Сеговийскую лунную ночь, слышались две песни: под балконом донны Анны песнь любви земной пел грешный дон Жуан Тенорио, а перед иконой Божьей Матери – песнь любви небесной – св. брат Жуан Креста. И две эти песни, святая и грешная, были почти неотличимы одна от другой.

22 Одиночество

Часто уходил он из Сеговийской обители в соседние горы, где находилась пещера, откуда видны были только пустынная равнина, снеговые горы и небо. Целыми часами сидел он в этой пещере, погруженный в молитву или созерцание, а когда приходили к нему из обители, говорил как будто с виноватой улыбкой: «Ради Бога, оставьте меня, я не создан для того, чтобы жить с людьми. Лучше говорить с камнями, чем с людьми, – меньше греха...» (Bruno, 326–344).

Скажет в «Песне Духа»: «Опьяненные любовью (к Богу) души уже не участвуют ни в чужих делах, ни даже в своих собственных» (Abr., 222). «Ангелам подобны такие люди (созерцание совершенного); что о грехах скорбеть надо, знают и Ангелы, но не скорбят и, даже в милосердных делах своих, не знают жалости, так же и эти люди... жалости чужой не знают; довольствуясь соединением с Богом, ничего они уже не хотят ни от вещественного мира, ни от духовного» (Abr., 217). Вечная молитва его: «Да расширит Господь душу мою, и да избавит меня от жизни земной, чтобы мне не нести на себе бремени человеческих душ» (Bruno, 266. Varuzi, 284).

Страшную меру уединения его дают такие слова, как эти: «С миром должно так поступать, как будто никакого мира и не было вовсе» (Abr., 198). «Если бы даже рушился мир, будь спокоен» (Bruno, 357).

Заповедь эту Иоанна Креста вспомнит, вероятно, полудруг, полувраг его, о. Джироламо Грациано, когда скажет о нем не очень справедливо, но очень язвительно: «Есть люди, которым кажется, что все духовное совершенство заключается в том, чтобы не выходить из кельи... если бы даже весь мир погибал в огне пожара» (Bruno, 298). Кажется, бывали такие минуты, когда и сам Иоанн Креста сомневался, должно ли «с миром поступать так, как будто никакого мира и не было вовсе». Чтобы вернуться в мир, пробудиться от созерцания – погружения в себя и в Бога, он, в такие минуты, «бил кулаком об стену» (Baruzi, 283. Bruno, 291–327).

В уединении душа моя жила,
В уединении гнездо себе свила;
В уединение ведет ее Возлюбленный,
Потому что и он в любви одинок (Bruno, 238).

В этих стихах «Песни Духа», может быть, вспоминает он о Сеговийской пещере.

В жажде уединения борется у него чувство святости с чувством греха. Очень вероятно, что в иные минуты он понимал, что если и Христос был одинок, то не потому, что уходил от людей, как он, Иоанн Креста, а потому, что люди уходили от Него. Но бывали и другие минуты, когда воля к уединению была для него тем, что можно бы назвать «первородным грехом святости» – соблазном нечеловеческой свободы и могущества. «Только в уединении душа вкушает

свободу» (Hoorn., 213). «Бог сообщает душе (в уединении) *страшную силу»* (Abr., 215). Сила эта, может быть, ему страшна потому, что он и сам не знает, святая она или грешная. В этом-то незнании – главный источник того страдания, которое так верно и глубоко угадывает в нем Тереза: «Он был пресыщен страданием, *harto está de padecer»* (Bruno, 286). «Мужество у него великое, но так как *он один*, *es solo*, то для того, чтобы совершить дело свое... он нуждается во всем, что дает ему Господь» (Baruzi, 159). «Я не знаю, по какому злomu року никто никогда не вспомнит об этом святом». «Я испугана злым колдовством, *encantamiento*, которое окружает брата Иоанна Креста» (Baruzi, 181. Bruno, 166). Это «злое колдовство» и есть его же собственная воля к одиночеству. «Беги от всех людей, насколько можешь, потому что иного ты не найдешь святого уединения», – святого или грешного, в этом весь вопрос, никогда, может быть, до конца не решенный самим Иоанном Креста (Baruzi, 274). «Я теперь в большем одиночестве, чем когда-либо, но этого хочет Бог», – пишет он накануне смерти одной из любимых учениц своих. «О, сколько бы я хотел вам сказать... но ничего не скажу, потому что нет сил» (Bruno, 166). Избавиться от «злого колдовства», выйти из темного колодца одиночества нет у него сил, может быть, потому, что он и сам не знает, надо ли из него выходить, или не надо; знает только, что надо «страдать... и молчать» до конца.

Страшную меру воли его к одиночеству дает и это учение о любви: «Должно любить всех одинаково, родных и чужих, и даже родных меньше, чтобы плоть и кровь не возбуждали этой естественной любви, которая существует между родными и которую должно умерщвлять, чтобы достигнуть совершенства. Да будут все тебе чужими... Не люби одного человека больше, чем другого, потому что ты ошибешься. Больше любви достоин лишь тот, кого больше любит Бог, но мы этого не знаем: вот почему, забывая всех одинаково, ты не ошибешься, любя больше одного, чем другого. Не думай же ни о ком ничего, ни злого, ни доброго, беги равно ото всех... чтобы достигнуть святого уединения» (Bruno, 232–233, 424).

Грех для него не только любить, но и быть любимым: «Быть другом его есть уже грех, que solo ser su amigo era delicto» (Bruno, 362). «Перед смертью он сожжет письма Терезы, чтобы от всего быть свободным» (Bruno, 230).

Волю его к уединению делает «первородным грехом святости» крайнее сгущение одного из цветов евангельского спектра: «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником» (Лк., 14, 26).

Но видно по этому «преисподнему опыту» любви-ненависти и то, как Иоанн Креста сам себе противоречит и борется

с самим собой.

В Дуруэльскую обитель, именно в те дни, когда самоумерщвление его ужасает Терезу, как возможное «искушение диавола», он приглашает мать и брата Франческо (Bruno, 91. Varuzi, 69). «Будучи в Сеговии... он послал за мной, – вспоминает Франческо. – Я приехал и, проведя с ним два или три дня, попросил его меня отпустить. Но он сказал мне: „Не торопись, останься еще несколько дней, Бог знает, когда снова увидимся!“ (Bruno, 330). Нет никакого сомнения, что Иоанн Креста не исполнил страшного учения своего о любви-ненависти: „Должно умерщвлять естественную любовь свою к родным, чтобы достигнуть совершенства“.

Когда он однажды строго выговаривал молодому послушнику за важное нарушение устава, тот вдруг рассердился так, что осыпал его площадной бранью. Молча Иоанн выслушал все, а когда послушник кончил, упал перед ним на колени и поцеловал край одежды его; потом встал, крепко обнял его и сказал: «Все да будет между нами в любви и во славу Божию, брат мой!» (Demim., 63).

Сколько нужно ему было любви для такого смирения! «И туда, где нет любви, вложи любовь и излечишь любовь. *Y adonde no hay amor ponga amor y sacará amor*» (Varuzi, 218) – учит он других и делает сам.

Однажды в Благовещенской обители, в г. Авиле, знатная, молодая и прекрасная женщина, страстно любившая Иоанна Креста, потихоньку зашла к нему в келью, когда он был один,

и старалась его соблазнить. Он не сделал того, что некогда сделал св. Фома Аквинский – не схватил раскаленной головы в руки, чтобы победить соблазн; а заговорил с нею тихо и ласково, как мать с больным ребенком. Женщина заплакала и ушла, может быть, полюбив еще больше, но уже иною любовью (Bruno, 136–137).

Люди относятся к нему двойственно: одни считают его великим святым, а другие – великим грешником, и даже иногда у одних и тех же людей впечатление от него двоится. «Брат Иоанн Креста всю жизнь был святым», – скажет св. Тереза Иисуса, и она же, увидев самоумерщвления Дуруэльских подвижников, внушенные им братом Иоанном Креста, говорит: «Дьявол, может быть, искушает их чрезмерностью подвигов».

«Братия, дьявол идет, – уйдем поскорее!» – говорят иноки Саламанкской обители, завидев издали подходящего к ним Иоанна Креста (Вино, 82). И там же, в Саламанке, когда однажды священник, изгоняя из одержимого беса, спросил, кого из служителей Божьих он боится больше всего, бес ответил: «Иоанна Креста!» (Dem., 180).

В городе Авиле была молодая монахиня, заключившая, будто, с шестилетнего возраста, договор с дьяволом, который дал ей такую же чудотворную власть над природой – утишать бури, гасить пожары, прекращать землетрясения, исцелять больных и даже воскрешать мертвых, как и та власть, которой суеверные люди поклонялись в Иоанне Креста. Все ее считали великой святой, только духовник ее, кое-что заподозрив, просил Иоанна Креста ее осмотреть, и тот сразу увидел, что она – одержимая, начал изгонять из нее беса. Но

на все его молитвы и заклания бес отвечал с великой наглостью: «Она моя, и я ее никому не отдам!»

Брат Жуан ушел от нее с тем, чтобы, проведя всю ночь в молитве, вернуться на следующий день. Но только что ушел он, как бес, под видом его, постучался у ворот обители и, когда мать-привратница открыла ему, попросил ее вызвать в приемную ту монахиню, у которой он только что был, чтобы сказать ей что-то очень нужное, что забыл сообщить при первом свидании. А когда она вышла в приемную, сказал ей: «Дочь моя, грех твой так велик, что Бог тебя не может простить. Ты заключала договор с дьяволом и погибла навек!»

В то же время Иоанну Креста на молитве открыто было все происходящее в обители. Он поспешил туда, и, только что вошел в приемную, где бес говорил с монахиней, тот исчез, а Иоанн Креста начал утешать ее и ободрять, и она успокаивалась на одну минуту и верила ему, но потом, взглядевшись пристально в него, вся дрожала и бледнела от ужаса: видела двух Иоаннов и не могла отличить одного от другого, настоящего от двойника его, дьявола. Может быть, это смешение происходит не только у таких простодушно верующих, как эта монахиня, но и у всех, кто ближе подходил к нему: то Божий слуга, то дьявол; может быть, он и сам никогда не умел отличить себя, настоящего, от двойника своего, дьявола. Если так, то и в этом была одна из причин его одиночества, источника того, что угадала в нем Тереза: «Он пресыщен страданием». Только одного не угадала она, что

это страдание он и сам неутолимо жаждал.

«Брат Иоанн, скажи, чего ты хочешь, и я это сделаю», – услышал он однажды от уст Господних в видении.

«Господи, – ответил он, – я хочу одного – страдать за Тебя и быть презираемым всеми, *prôte!*» (Bruno, 330–450).

Этому желанию его суждено было скоро исполниться.

25 Новые гонения

В 1585 году назначен был генеральным викарием Кармельского Братства Николай Дория, из древнего и несметно богатого рода генуэзских банкиров. На старости лет постригшись в монашество и сделавшись одним из самых могущественных князей Римской Церкви, он соединял расчетливо холодную ловкость дельца с пламенной ревностью верующего (Bruno, 293). Будучи злейшим врагом Реформы, решил он ее уничтожить и с этой целью, втершись ко двору, спас короля Филиппа II и сделался другом его, если только могли быть у него друзья (Baruzi, 211). Вошел в милость и папы Сикста V, надеясь соединить церковную власть с государственной для уничтожения Реформы. Так исполнилось то, чем семь лет назад в Толедской тюрьме запугивали Обутые Иоанна Креста: «Дни реформы сочтены, потому что христианнейший король соединился со Св. Престолом, чтобы ее уничтожить».

В 1587 году появилась булла *Decretum Romanum Pontificem*, разделявшая Братство Кармеля на несколько провинций с подчинением каждой отдельному провинциалу, чем разрушилось главное основание великого дела св. Терезы Иисуса и св. Иоанна Креста – единства Реформы (Baruzi, 210).

Слишком хорошо понимал Николай Дория, что по смерти Терезы все братство Нового Кармеля держится на одном

Иоанне Креста и что нельзя уничтожить Реформу, не уничтожив его. Но это было не так легко, как ему казалось. Что делать с человеком, который сам себе желает худшего из всего, что можно с ним сделать? «Я – червь презренный, и обидеть меня никто не может» (Bruno, 345). Если эти слова Иоанна Креста казались о. Дорию ложным смирением, то он скоро понял, что ошибся. Злейшие обиды и гонения, в самом деле, не были страшны Иоанну Креста: все они проходили даже не мимо, а сквозь него, как удары меча – сквозь тело призрака. В бешенство приводила о. Дория эта неуязвимость и недосыгаемость врага. Как бессильно было бешенство его, лучше всего можно судить по розыску о. Диэго Евангелиста, главного наушника о. Дория: одну из духовных дочерей Иоанна Креста он запугал до того, что вынудил у нее признание, будто бы однажды тот поцеловал ее сквозь решетку исповедальни. Если этот такой умный человек, как о. Дория, не побрезгал такой глупой и подлой клеветой, как оружием борьбы, он должен был дойти до последней степени бессилия (Dem., 194). Коленопреклоненный, смиренный, безгласный, как агнец, казался ему Иоанн Креста опаснейшим для Церкви мятежником, – может быть, опаснее Лютера и Кальвина, потому что у тех был явный мятеж, с которым можно бороться, а у этого – тайный, непобедимый ни в какой борьбе.

Хуже всего для Иоанна Креста было то, что в самом Братстве Нового Кармеля он чувствовал предательство. По-

лудруг, полувраг его, о. Джироламо Грациано, зараженный «язвой церковного вельможества», готов был изменить великому делу Терезы.

«Если мы не имеем мужества говорить правду на церковных соборах и капитулах, то Братство наше погибло!» – остерегал Иоанн Креста на Мадридском капитуле 1591 года; он мог бы сказать: «Погибло не только наше Братство, но и вся Церковь!» (Вино, 340).

Кажется, слова эти были, кем нужно, услышаны, потому что тотчас же после Мадридского Капитула Иоанн Креста лишен был всех должностей и сослан «на покаяние» в глухую обитель Пенуэлу (Penuela). Вот когда исполнилась его молитва:

Господи, я хочу одного – страдать за Тебя и быть презираемым всеми!

Крошечная обитель Пенуэла находилась в диком горном ущелье Серры Морена, где ничего не было, кроме голых, летом раскаленных, а зимой обледенелых скал и отовсюду зияющих, бездонных пропастей (Baruzi, 215. Demim., 192). Лучшего для себя убежища не мог бы выбрать Иоанн Креста:

В уединении душа моя жила,
В уединении гнездо себе свила;
В уединение ведет ее Возлюбленный...

Этот вечный зов снова услышал он и пошел на него: веч-

ную жажду уединения он мог теперь утолить уже со спокойной совестью: не он ушел от людей, а люди от него. «Я могу, наконец, быть *совершенно свободным*... Я счастлив потому, что, освободившись от всех забот о других, я могу жить в мире, тишине и спокойствии» (Baruzi, 218).

Но и здесь, в Пенуэле, всеми забытый и отверженный, он все еще был страшен врагам своим, как скованный Титан Прометей, и они решили послать его миссионером в Мексику, чтобы избавиться от него окончательно (Baruzi, 220. Bruno, 351). Когда, месяца два прожив в Пенуэле, получил он это известие, то был болен, и, хотя болезнь его казалась другим не опасной, он сам уже знал, что она смертельна, и радостно готовился к более далекому странствию – в нездешний Новый Свет.

Смерть

«Завтра я еду в Убеду, чтобы лечиться от маленькой лихорадки. Так как уже больше недели она у меня бывает каждый день и не проходит, то, кажется, я нуждаюсь во враче. Но скоро надеюсь вернуться сюда, потому что в этом святом уединении я чувствую себя очень хорошо, en esta santa soledad me hallo muy bien», – писал Иоанн Креста из Пенуэли, 21 сентября 1591 года, одной из любимых учениц своих, донье Анне Пеньялоза (Penalosa) (Bruno, 351–458). Может быть, он знал, что уже никогда не вернется в Пенуэлу и только успокаивал донью Анну.

Главный викарий Нового Кармеля, о. Антонио дэ Гередия, предложил ему для лечения два места, на выбор: Баэцу или Убеду. Очень хорошо поминали его и любили в Баэце, где двадцать лет назад преподавал он теологию. Что здесь будет он принят как желанный гость, он знал; знал и то, что ожидает его в Убеде, где игуменом тамошней обители был злейший враг его, о. Хризостомо, которого некогда сурово обличил он в «церковном вельможестве», который не мог ему этого простить и теперь не преминул бы воспользоваться случаем отомстить за старые обиды (Baruzi, 221. Bruno, 355). Но все-таки он выбрал не Баэцу, а Убеду, исполняя и теперь, как столько раз в жизни, заповедь свою:

Не легкого желай, а трудного,
Не сладкого, а горького.

Путь из Пенуэли в Убеду по крутым, горным тропинкам был очень труден больному. Он так ослабел, что едва держался на муле. «Пилят, пилят мне ногу деревянной пилой и все не могут отпилить!» – жаловался он с кроткой улыбкой сопровождавшему его молодому послушнику, и тот, глядя на него, иногда уже не надеялся довести его до Убеды живым.

Доехав до места на Гвадалквивире, он предложил ему отдохнуть и, когда тот согласился, помог ему слезть с мула, усадил его в тени, поближе к реке, где и в этот час полуденного зноя веяло прохладой от реки, вынул из сумы съестные припасы, разложил их на камне и сказал: «Ради Бога, отец, съешьте чего-нибудь, хоть кусочек, ведь со вчерашнего дня маковой росинки во рту у вас не было!» «Нет, сын мой, из всего, что создал Господь, я уже ничего не хочу, – ответил Иоанн Креста и, немного помолчав, прибавил все с той же кроткой улыбкой: – Вот если бы спаржа была, я, может быть, и съел бы!»

И только что он это сказал, послушник перекрестился, потому что вдруг увидел в десяти шагах от них пук свежей, только что, должно быть, на огороде собранной спаржи и не усомнился, что это было одно из тех же великих чудес, которых столько творил св. Иоанн Креста. «Что ты, сын мой?» –

спросил тот и, когда послушник молча указал ему на спаржу, проговорил: «Кто-нибудь, должно быть, забыл. Но так как Господь посылает как дар свой, мы не должны его отвергать. Возьми же с собой эту спаржу и оставь за нее немного денег, чтобы забывший, если вернется за нею, не подумал, что мы ее украли».

Смертный грех чревоугодия теперь уже не был страшен Иоанну Креста, как тогда, в Дуруэле, когда в лютом самоистязании бичевал он себя до крови за такой же грех (Bruno, 352–353, 459).

Вечером в тот же день приехали они в Убедскую обитель, где игумен принял Иоанна Креста так, как тот ожидал. Радоваться могли бы злейшие враги его, о. Тоскадо и о. Дория, потому что лучшего для него палача они бы не выбрали.

О. Хризостомо дал ему самую холодную, темную и тесную во всей обители келью, немного лучше Толедской тюрьмы: не было в ней ничего, кроме голых стен и теснейшей койки из двух-трех досок с висевшим над нею Распятием. Но, войдя в келью, он оглянул ее так радостно, как будто для смерти его не могло быть лучшего места в мире: Иисус на Кресте – больше ничего не нужно было умирающему Иоанну Креста (Bruno, 353).

Часто приходил к нему о. Хризостомо, садился у изголовья постели, и начиналась пытка. Целыми часами говорил он медленно-тягучим голосом, как будто пилил его больную ногу деревянной пилой, напоминая все его «жестокое оби-

ды», доказывая правоту свою и его несправедливость, а иногда смотрел на него такими злыми глазами, что ему казалось, что он уже не пилит его больную ногу, а втыкает в нее раскаленные иглы (Baruzi, 221).

Врач Амброзио дэ Виллереале, осмотрев больного, объявил, что у него рожистое воспаление надкостницы. Пять больших нарывов было на ноге его – совершенное подобие пяти ран Господних. Иноки, видя в этом великое чудо Божие, крестились и шептали так громко, что Иоанн Креста не мог их не слышать, и, может быть, это было хуже для него, чем пытка о. Хризостомо, потому что глубоко кощунственная вера людей в чудотворную силу его уничтожала и в смерти все, что он сделал в жизни (Bruno, 354–459).

Врач, зайдя к нему однажды, сказал, что придет на следующий день разрезать нарывы и выпустить их гной. Но это была только обычная хитрость тогдашних врачей, чтобы обмануть и успокоить больного. Делая вид, что осматривает ногу его, он вдруг схватил ланцет и сделал с живым телом то, что в анатомических сечениях делал над трупами: срезал все мясо с ноги от подошвы до сгиба в колене так, что забелела между красными и синими жилами кость. Потом обливалось все тело больного, лицо позеленело, но страшное подобие улыбки было на помертвевших губах, когда он прошептал: «Это сделал Ты, Иисус! Jesus, eso ha hecho!» (Bruno, 357–460).

Врач, никогда не видевший у больных такого присутствия духа, перекрестился так же благоговейно, как те, кто удивил-

ся мнимому чуду пяти нарывов. Но было уже действительное чудо Божие. Мужеству «маленького Сенеки», как называла св. Тереза Иоанна Креста, могли бы позавидовать Сократ и Эпиктет. Подвиги Александров и Цезарей перед этим – ничто: большую победу, чем те – над миром, одержал над собой Иоанн Креста.

Как-то раз молодой послушник, брат дэ Сан Джозе, потихоньку войдя в келью о. Иоанна, когда он был один, и увидев, что он очень страдает, сказал: «Может быть, ваши страдания, отец, немного облегчила бы музыка? К нам в обитель пришли музыканты. Если вам угодно, я позову их сюда». «Благодарю тебя, сын мой, – ответил больной. – Я буду рад услышать музыку земную в последний раз перед тем, чтобы услышать небесную...»

Послушник хотел уже идти за музыкантами, но Иоанн Креста удержал его за руку, немного помолчав, закрыл глаза, о чем-то глубоко задумавшись, и потом проговорил с тою тихой и радостной, но людям уже непонятной и страшной улыбкой, которая все еще появлялась на лице его: «Нет, сын мой, я передумал: посланные мне Богом страдания я не должен облегчать ничем. Ступай же, поблагодари музыкантов и угости их чем-нибудь, только потихоньку от о. Хризостома, чтобы не рассердился, а я побуду один и помолюсь».

Так в последний раз исполнил он и в смерти то, что столько раз испытал в жизни, – заповедь свою:

Не сладкого желай, а горького,
Не легкого, а трудного.

Как только иноки видели, что о. Хризостомо не было в келье о. Иоанна, приходили к нему за духовною помощью или для того, чтобы утешать его в страданиях. Он выслушивал их терпеливо и ласково, но мало сам говорил и только смотрел на них, все с тою же радостной, но людям уже непонятной и страшной улыбкой, а потом, с бесконечной на лице усталостью, тихонько просил: «Дети мои, оставьте меня одного, я за вас помолюсь, и Господь вам лучше поможет, чем я...» (Demim., 200. Bruno, 359).

В уединении душа моя жила,
В уединении гнездо себе свила;
В уединение зовет ее Возлюбленный, —

этот вечный зов услышал он в последний раз и пошел на него в смерти так же, как в жизни.

«Возрадовался я, когда сказали мне: „Пойдем в дом Господень!“ Laetatus sum in his, quae dicta sunt mihi: in domum Domini ibimus!» – воскликнул он, когда врач сказал ему, что он скоро умрет (Bruno, 361).

За два дня до смерти он причастился, и, когда один из братьев, подойдя к нему, поздравил его с принятием святых Тайн Господних, Иоанн спросил: «Брат Диего, думаете ли вы, что я скоро умру?»

Был ли это последний, еще не побежденный страх смерти, или нетерпеливое желание умереть поскорей? Может быть, и то и другое вместе (Bruno, 363–461).

И в тот же день послал он за о. игуменом и, когда тот пришел, Иоанн Креста, попросив у него со слезами прощения за все старые и новые обиды, сказал: «Отец мой, я жил и умираю в нищете и нагоде совершенной, по данному мною Господу обету, так что нет у меня и одежды, в которой могли бы меня похоронить. Дайте же мне, умоляю вас, одежду Пресвятой Девы Марии, в ней же и похороните меня». «Брат мой», – начал о. Хризостомо и не кончил, упал на колени, закрыл лицо руками и зарыдал: «Что я сделал, что я сделал!...»

Иноки, зная, что больной пошевелиться не может без чужой помощи, глазам своим не поверили, когда приподнялся он на постели, обнял голову о. Хризостомо и, прижав ее к

груди своей, сказал: «Братец милый, не плачь, все хорошо будет. Я знал, что Господь простит тебя и помилует».

И так просветлело лицо его, как у Ангелов, когда радуются они больше об одном кающемся грешнике, чем о десяти праведниках (Вгупо, 362–363, 468), не имеющих нужды в покаянии (Лк., 15, 7).

Так совершилось еще одно неложное чудо св. Иоанна Креста – исцеление души человеческой от зла величайшего – низости.

В ночь на 14 декабря была одна из тех снежных бурь, какие бывают в горах Северной Андалузии. Ветер выл за окнами, как стая волков, и потрясал стены обители так, что казалось, они готовы были обрушиться. В эту ночь больной еще раз причастился.

«Больше очами плоти я Тебя не увижу, Господи!» – проговорил он, глядя на Св. Гостию.

Восьмидесятилетний о. Антонио де Гередиа, игумен первой мужской обители Нового Кармеля, неразлучный спутник Иоанна Креста в течение всей жизни его, подойдя к нему, сказал: «Помнишь ли, сын мой, дуруэльскую обитель и сколько мы там потрудились во славу Божию? Нынче час награды твоей наступил, и воздаст тебе Господь сторицею за все твои труды».

«Нет, не говорите этого, отец мой, – ответил Иоанн. – Я ничего не сделал, в чем бы не раскаивался; лучше напоминайте мне о грехах моих, чтобы мне поплакать о них.

Нет, не моими заслугами, а кровью Иисуса Христа я спасусь!» (Bruno, 355, 462. Dem., 201).

Через час или два попросил он позвать к нему о. Себастиано, которого двадцать лет назад постриг в Баэской обители, и, когда тот остался с ним наедине, долго говорил ему о делах Нового Кармеля и в заключение сказал: «Сын мой, ты некогда будешь избран в наместники Братства. Помни же, что я тебе завещал перед смертью, и передай всем, чтобы и они это помнили и свято хранили» (Bruno, 363–364, 461).

После этой беседы он прилег отдохнуть, закрыл глаза, будто уснул, а когда пробили часы на колокольне, спросил: «Который час?» И когда ему сказали, что девять, сказал: «Еще три часа изгнания мне осталось...» (Bruno, 366). В десять часов, услышав благовест, опять спросил: «Что это?» «Сестры идут к утрене», – ответили ему.

«А я буду петь утрению с Пресвятой Девой Марией! – проговорил он радостно и, немного помолчав, прибавил: – Как я счастлив, что, ничего не сделав, буду сегодня ночью на небе!» (Bruno, 364–365).

Снова из черного колодца смерти увидел Дневную Звезду – всех упавших в колодец Спасительницу, всех одиноких изгнанников Спутницу, всех заточенных в темницу Освободительницу, Пресвятую Деву, Матерь Божию. Вечный рыцарь Прекраснейшей из всех Прекрасных Дам, Ей одной служивший здесь, на земле, он знал, что и там, на небе, будет Ей служить.

Идучи к утрени, иноки, войдя в келью Иоанна Креста, повесили лампы на стене. «Братья, читайте отходную», – проговорил Иоанн.

Стали читать, но не успели кончить, как он попросил читать «Песню Песней», и почувствовали все, что так и надо, потому что над смертью его должен был звучать не горький плач покаяния, а торжествующая песнь любви.

«Да лобызает Он меня лобзанием уст своих», – начал один из иноков. «Ибо ласки Его лучше вина», – продолжал Иоанн. «О, какие это драгоценные камни!» – воскликнул он, кончив (Bruno, 366).

«Брат Иоанн Креста был очень спокоен, прекрасен и радостен, muy sereno, hermoso e alegre», – вспоминает очевидец (Bruno, 386, 461). «Только глаза его горели таким огнем, что трудно было вынести его».

Пробило полночь.

«Брат Диего, велите благовестить к утрени», – сказал умирающий и, только что-то услышав колокол, взял в руки Распятие и, прижав его к губам, воскликнул: «Господи, в руки Твои предаю дух мой! In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum!»

И отошел так тихо, что никто не заметил.

«Господи, в руки Твои предаю дух мой» – эти слова произнес и умирающий Лютер. Два величайших вождя двух Реформ – отлученный от Церкви ересиарх Лютер и венцом святости увенчанный Иоанн Креста – отрицают то, от чего мир

погибает, – Разделение Церквей, и утверждают то, чем спасается мир, – соединение Церквей.

«Сладостнее умирают святые, чем живут... так, умирающий лебедь слаще поет... В смерти святых река любви человеческой впадает в океан Любви Божественной», – учит св. Иоанн Креста в «Живом Пламени Любви» (Норм., 166).

О, Сладостный ожог,
Блаженнейшая рана!
О, нежная рука!
О, тихое касание!
В вас – вечной жизни сладость,
И вы вознаграждаете за все
И, убивая, делаете жизнью смерть! (Норм., 171).

Вечный страх смерти делает человека несчастнее зверя, потому что тот смерти не знает. Как от этого страха избавиться, учат святые. Люди забыли это учение, но если когда-нибудь вспомнят его, то будут счастливы, и на земле наступит Царство Божие.

«О, Бог мой, Супруг мой, наконец-то я Тебя увижу!» – воскликнула, умирая, св. Тереза Иисуса с такой блаженной улыбкой, как будто уже видела Его.

«Смерть моя была не чем иным, как таким восторгом любви, что тело мое не могло этого вынести!» – говорила она, явившись после кончины одному из иноков Кармеля (Св. Тереза, 259–260). То же мог бы сказать и св. Иоанн Креста, да

и говорит почти то же: «Встреча любви в смерти, глубокая и сильная (сильнее, чем в жизни), прорвала пелену и унесла душу из тела (Bruno, 368, 463).

О, живое Пламя Любви,
Разделяющую нас пелену прорви! (Авг., 245).

Этот «прорыв» и есть не что иное, как «Пронзение», «Transverberatio», св. Терезы Иисуса так же, как св. Иоанна Креста. В жизни и в смерти путь обоих один – к высшей, доступной людям точке Экстаза – Богосупружеству.

III. Что сделал Иоанн Креста?

1 Критика мистики

Если бы люди вдруг забыли Эвклидовы начала геометрии или Ньютонов закон мирового тяготения, то очень многое изменилось бы к худшему в жизни человечества. Люди наших дней забыли нечто более нужное для них, чем открытия Эвклида и Ньютона, – весь религиозный опыт святых, и горькие плоды этого забвения мы сейчас вкушаем.

Людям наших дней, может быть, нужнее всего религиозный опыт св. Иоанна Креста, потому что в нем преодолевается то, что отделяет их от религии: «путь отрицания», *via negationis*, в этом опыте становится путем утверждения.

С Кантом сравнивает св. Иоанн Креста очень верно и глубоко один из лучших знатоков его (Baruzi, 549). Ни один мудрец не пытался быть в незнании своем выше всякого знания. Это мог бы сказать и Кант вместе с Иоанном Креста (Noon, 225). «Критикой чистого разума» называет Кант одну из главных книг своих; «Критикой чистой мистики» мог бы назвать св. Иоанн Креста все, что сделал. «Критикой чистого безумия» могли бы это назвать люди наших дней. Если в критике чистого разума никто не идет дальше, чем Кант, то в критике чистой мистики никто не идет дальше, чем св.

Иоанн Креста.

Чтобы понять то, что поняли Кант и св. Иоанн Креста, нужна не только сверхчеловеческая сила ума, но и какая-то особенность в строении тела – нечто вроде способности поворачивать голову так, чтобы лицо оказывалось там, где был затылок, и видеть то, что всегда прячется от людей за их спиной и подстерегает их, чтобы рано или поздно поглотить. Это невидимое людям Кант называет «трансцендентальной эстетикой», а св. Иоанн Креста – «преисподним опытом». Вот, кажется, одна из многих причин его одиночества: люди бегут от этого человека с чудовищно перевернутым лицом, как от неземного страшилища.

«Бог бесконечно превосходит всякое человеческое понимание, так что чем больше человеческий разум хочет понять Бога, тем больше от него отдаляется», – учит Иоанн Креста. «Вот почему разум должен освободиться от себя самого и отказаться от понимания, чтобы достигнуть Бога верою... Не понимая, человек больше приближается к Богу, чем понимая» (Noon., 218). Этого, может быть, никто не говорил и не скажет так ясно, кроме Генриха Сузо и великого французского мистика Паскаля. «Вечной жизни достигает человек только по отречении от всего, что может мыслить и выразить» (Baruzi, 628), – учит Сузо, и Паскаль: «Нет ничего естественнее для разума, чем отречение от себя самого». «Последнее действие разума сводится к тому, что есть нечто бесконечно-высшее разуму» (Паскаль, 207).

Меньше всего это отречение от разума у св. Иоанна Креста и Паскаля похоже на отречение у Лютера. Разум для Лютера «величайшая блудница дьявола», а для Паскаля «царственное величие человека – мысль». «Человек – только тростник, самый слабый в мире, но тростник мыслящий... Если бы мир раздавил человека, он все-таки был бы выше мира, потому что знал бы, что умирает, а мир ничего не знает... Мир обнимает и поглощает меня пространством, но мыслью я обнимаю мир» (Паскаль, 199–200). Теми же почти словами говорит и св. Иоанн Креста: «Мысль человеческая дороже целого мира; следовательно, один только Бог достоин мысли» (Baruzi, 435).

Лютеру было очень легко отказаться от разума, а св. Иоанну Креста и Паскалю – очень трудно, почти невозможно, и отречение их – великая жертва.

«Бог есть Непознаваемое» – в этих трех словах – главная основа всего религиозного метода Иоанна Креста (Hoorn., 222). Все, что люди слишком легко называют «Богом», он презирает (Baruzi, 612). «Следует бежать от видений и откровений, как от величайшей опасности», – предостерегает он (Baruzi, 239). «Некоторые так погружаются в эти обманы дьявола и так ожесточаются в них, что возможность их возвращения к простому добру и к истинному благочестию становится очень сомнительной» (Hoorn., 58). Мнимо или действительно «видение», спрашивать нельзя: всякое видение мнимо, потому что возвращает нас в область явлений.

Видения мнимы, поскольку внешни, но в последнем счете все внешни, потому что ограничивают Бога пространством и временем, условиями всякого мышления (Baruzi, 500). Клиническая точность в наблюдениях Иоанна Креста, порождающими мнимые видения и откровения душевными болезнями, – такая же, как у великого врача Гомеца Перейры.

Очень, вероятно, удивила бы добрых католиков потерянная или уничтоженная книга Иоанна Креста «О чудесах» (Baruzi, 294). «Я не был бы христианином, без чудес», – говорил св. Августин (Паскаль, 122). «Я был бы христианином и без чудес», – мог бы сказать св. Иоанн Креста, да он это и говорит: «Плохо бы я верил, если бы я нуждался в чем-либо подобном». «Не воля Божия творит чудеса; если же Бог все-таки творит их, то только по необходимости», потому что люди слишком маловерны, чтобы обойтись без чудес (Baruzi, 528). «Пусть же человек духовный отвергает с закрытыми глазами все чудеса» (Baruzi, 467–468). Но если бы неверующие думали в этом найти союзника в Иоанне Креста, то очень ошиблись бы: он отрицает чудеса не потому, что мало, а потому, что слишком верит: вера сама для него величайшее из всех чудес.

В «Темной Ночи Духа», «Oscura del Espíritu», отрекаясь не только от человеческого разума, но и от всех «откровений», «видений» и «чудес», он чувствует себя «как путешественник, идущий по неизвестным путям для открытия неизвестных земель, которому уже бесполезно все, что он

прежде знал, и который теперь идет, сомневаясь во всем и пользуясь чужим знанием (по разведкам). Если бы не шел он по этим новым путям, то никогда ничего не открыл бы и знания своего не увеличил бы» (Ноогн., 108).

«Критика чистой мистики» и есть тот корабль, в котором Иоанн Креста, подобно Колумбу и другим испанским конквистадорам XVI века, переплывает великое Море Мрака, Mare Tenebrarum, чтобы достигнуть внутреннего Нового Света.

2 Между Иллюминатством и Церковью

«Все, что я говорю, я отдаю на суд нашей Матери, святой Римско-Католической Церкви, потому что под ее водительством мы не можем заблуждаться» (Noon., XI). «Я готов отречься от всех моих заблуждений... какое бы покаяние на меня ни наложили» (Bruno, 347). Эта бесконечная покорность Церкви не помогла св. Иоанну Креста. Раз три или четыре, вероятно, доносили на него Инквизиции в Толедо, Валладолиде и Севилье, как на «еретика-иллюмината», *alumbrados* (Baruzi, 188. Bruno, 407). Если бы он не умер, то его расстригли бы и выгнали из Братства, скажет о нем Диэго Евангелиста через несколько месяцев после его смерти. И потом иезуиты будут доносить на него в течение тридцати лет, обличая в ереси. Большая часть «Темной Ночи» и «Восхождения на Кармель» уничтожена, если не самим Иоанном Креста, то Инквизицией, так же как вся переписка его с Терезой (Noon., 141). Добрых католиков удивила бы, вероятно, и эта переписка не меньше, чем книга его «О чудесах». «Не воля Божия творит чудеса» – этих слов достаточно было бы, чтобы отлучить его от Церкви, а может быть, и сжечь на костре так же, как и этих: «Думать, что сила молитвы зависит от каких-либо внешних условий (обрядов, *ceremonias*) – значит оскорблять Бога» (Baruzi, 240), или, другими слова-

ми: «Бога оскорбляет церковное Богослужение». В этом учении могли бы себя узнать испанские иллиминаты, так же как германские протестанты и французские кальвинисты. Правы были отчасти о. Тостадо и о. Дория, когда считали Иоанна Креста «мятежником» против Римской Церкви. «Наше учение не имеет ничего общего с ненавистным учением тех, кто, будучи движим сатанинскою гордыней и завистью, хотели бы запретить верующим святое и необходимое для них почитание икон», – говорит Иоанн Креста (Noon., X). «Истинное благочестие должно идти от сердца и видеть во внешних изображениях (иконах) только внутреннюю сущность изображенного; все же остальное есть несовершенство, связывающее душу, от которого должно освободиться, если хочешь быть совершенным» (Noon., 13). Это очень осторожно сказано, но «на воре и шапка горит», могли бы на это заметить отцы Инквизиторы. Слишком хорошо понимали они, что главная основа всего учения Иоанна Креста – «непознаваемость Бога для человеческого разума» – ниспровергает все богословское учение св. Фомы Аквинского, на котором зиждется Римская Церковь. В 1870 году, постановлением Ватиканского Собора, будет произнесена «анафема» тому, кто отрицает, что при свете естественного, человеческого разума бытие Бога достоверно познаваемо. В 1776 году Иоанн Креста увенчан венцом святости, а в 1870 г. «анафематствован». Римская Церковь не знает, что с ним делать, потому что он в нее не вмещается: то «святой», то «еретик» – под-

вержен «анафеме».

«Кроме того света, который горит в сердце моем, никакой иной не вел меня» на вершину Кармеля, *sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardia*» (Baruzi, 673). Это с одной стороны, а с другой: «Только под водительством Церкви никто не может заблуждаться». Что же ведет его – внутренний ли «свет сердца», или внешний свет Церкви, – этого он, может быть, и сам не знает, или знает и молчит, потому что противоречие между этими двумя светами слишком для него страшно.

Это противоречие видно яснее всего в том, что он говорит о духовниках. «Духа Св. помазания... так чисты и тонки, что ни самой душе, ни духовнику непонятны, и легчайшего к ним прикосновения достаточно, чтобы их уничтожить... Если неискusstный художник исказил бы тяжелыми и грубыми мазками картину великого мастера, – это было бы хуже, чем если бы он сам намалевал множество скверных картин» (Hoorn., 215). Дух – великий художник, а маляр – духовник. «Только бить... по душе умеют они (духовники), как молотом бьет кузнец по наковальне». «Действуй», говорят, «работай, созерцай, размышляй... все же остальное – только обман Иллюминатства, *alumbramientos y cosas de bausanes*» (Hoorn., 216). «Пусть же знает душа на пути к совершенству... как трудно, почти невозможно будет ей найти... учителя, обладающего нужным ей опытом... Нет никакого сомнения, что духовные учителя (лишенные опыта) причиняют величайшее зло множеству душ. Крайние в духовных путях невежды... отвращают они души от тонких и нежных помазаний, которыми Дух Св. готовит их к соединению с Богом. Эти учителя... предписывают ученикам своим только презрения достойные правила, которые сами изобретают или находят в случайно прочитанных книгах и которые пригодны только для начинающих, *principantes*... Если да-

же воля Божия очевидна, упорствуют они, не позволяя душам идти дальше умного делания и воображения. Душам запрещено идти дальше, и как скудны такого благочестия плоды!» (Ноогн., 208–209). Кто это говорит – «иллюминат», протестант, ученик Лютера или Кальвина? Нет, вернейший сын католической Церкви, св. Иоанн Креста.

Внутреннюю «свободу духа» утверждает он против внешнего насилия духовников с такою же силою, как это делают Лютер и Кальвин: «Нельзя ничем извинить духовника, который, заботясь о душе, никогда не дает ей освободиться под предлогом должного ему уважения и послушания» (Ноогн., 225). «То, что делаете вы, духовники, есть *тиранство* над человеческими душами: вы лишаете их всякой свободы, считая себя единственными обладателями свободы евангельской». «Это *тиранство* слышит и св. Тереза Иисуса в видении из уст Господних, тот же приговор над насилием духовников.

«В этом деле (соединение души с Богом) главный деятель – Бог, – учит Иоанн Креста. – Душу ведет Он туда, куда она не может прийти без Него, – к тому сверхъестественному, что не доступно ни разуму, ни воле, ни памяти, – так же, как поводырь ведет слепого за руку; вот почему душа должна больше всего заботиться о том, чтобы не мешать Богу... Худшею помехою было бы то, если бы слепой вел слепого. С верного пути сводят душу три слепых: *духовник, диавол и сама душа*» (Ноогн., 208). Это с одной стороны, а с другой:

«С Богом наравне почитай всякого церковного начальника, кто бы он ни был, потому что сам Бог поставил его наместником своим» (Вгупо, 356). Мог ли не видеть Иоанн Креста это противоречие и не искать из него выхода? Но если и искал, то не нашел. В этом-то противоречии одна из главных причин его одиночества не только в миру, но и в Церкви. «В Темной Ночи отчаяния и отверженности... ни наставления, ни советы духовника нисколько не помогают... потому что душа так насыщена страданием, что не верит, что другой человек мог бы это понять» (Ноогн., 132).

Духовник человека – священник, а духовник всего человечества – Римский Первосвященник, Папа. Знает ли это св. Иоанн Креста или не знает, хочет ли этого или не хочет, – суд его над духовниками – римскими священниками – есть и суд над Римским Первосвященником и над всей Римскою Церковью. «Вынести не можете вы, чтобы (вверенные вам) души уходили от вас, и когда узнаете, что одна из них ушла от вас, то осыпаете ее упреками, внушенными, – стыдно сказать, – такую завистью, как будто она изменила вам в каком-либо деле мирском. Делаете ли вы это во славу Божию или в пользу тех душ? Нет, если уходить от вас не значит уходить от Бога, то я не вижу в этом ничего, кроме низкой зависти, гордости и самомнения...» «Я взыщу от них овец Моих», – говорит Господь о таких пастырях, как вы... К ним же обращено и это грозное слово: «Горе вам, что вы взяли ключ разума, сами не вошли и входящим воспрепятствовали» (Но-

опн., 226).

С бóльшею силою не восставал на Римскую Церковь ни Лютер, ни Кальвин. Это уже не обман Иллюминатства – Протестантизма, а его святая правда.

4 Тварь и Бог

Как относится Бог к твари; и тварь к Богу? – Ответом на этот вопрос определяется существо всякой религии. Бог поглощается тварью на одном из двух полюсов религиозного опыта человечества, в эллинском язычестве, исключая Мистерии, а на другом полюсе, в буддизме, тварь поглощается Богом. Только в христианстве эти два противоположных начала соединяются в «противоположном согласии». Основным догматом христианства – Богочеловечеством – утверждается соединение Бога с человечеством, тварью. Но и христианство – это еще не достигнутая цель, а только путь к цели. В самом начале христианства, в жизни Христа, – эта цель уже поставлена:

Он (Христос), будучи образом Божиим, не почитал для Себя хищением быть равным Богу. Но умалил (уничтожил) Себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеку и по виду став как человек (Филип., 2, 6–7).

Крайняя точка этого «самоуничтожения», Сына Божия в Сыне человеческом, Бога в твари, есть крестный вопль Иисуса:

Боже мой! Боже мой! Для чего Ты Меня оставил?
(Мк., 15, 34).

В очень древних кодексах Евангелия от Марка, вместо нашего канонического чтения – сильнее, страшнее:

За что Ты проклял Меня, maledixisti? (И. Н., III, 282).

Так же понял и ап. Павел эту крайнюю точку «самоуничтожения», кенозиса Христа в Иисусе, Бога в человеке:

Сделался (Христос) за нас проклятием (Гал., 3, 13).

Жизнь Христа повторяется в жизни христианского человечества – тот же путь к той же цели – от «Самоуничтожения» к Воскресению. Только в исходной точке христианства, в жизни Христа, дано совершенное соединение Христа, Сына Божия, с человеком Иисусом, Несотворенного с тварью, или с подобием твари. Но в религиозном опыте христианства это соединение достигается медленно и трудно, на таком же крестном пути всего человечества, как шел и Сын Человеческий.

Если и другие великие святые, в том числе Бернард Клервосский, Франциск Ассизский и Тереза Иисуса, совершали тот же путь от «Самоуничтожения» к Воскресению, от проклятой твари к благословенной, то никто из них не описал этого пути так ясно и точно, как Иоанн Креста.

Сделанный им ко всем книгам его заглавный рисунок изображает три пути, ведущие на вершину горы Кармель: первый, правый, постепенно отклоняясь, кончается пропастью; этим путем идут ищущие Бога, но любовью к твари, к благам земным одержимые люди; путь второй, левый, при-

водит к тупику: этим путем идут люди, тоже ищущие Бога, но одержимые любовью к несотворенному, к благам небесным, и только третья между ними стезя ведет прямо на вершину Горы – к совершенному соединению Бога с тварью. Но надпись при входе на эту стезю гласит:

Ничего, ничего, ничего, ничего, ничего, и на вершине Горы ничего,

– надпись, не менее страшная, чем на двери Дантова ада:

Всякую надежду оставьте, входящие. (Дем., 123)

Это такая же геометрия в мистике, как у Паскаля.

«Бог есть все, а тварь – ничто», – говорит Иоанн Креста с бесстрашной и, как будто, бесчувственной, математической точностью (Дем., 143); то же говорит и великий германский мистик, Иоганн Таумер, с потрясающей силой чувства: «До крови потей, Бога с тварью не соединишь. Lust Gotz mit Lust der Creaturen, und schruwest du Blut, das en mag net sein» (Varuzi, 629). С тою же страшною силою говорит Иоанн Креста знатной Сеговийской даме, донье Анне Пеньялоза (Penalosa), плачущей у ног его, по смерти мужа и единственной дочери:

Ничего, ничего, ничего! Кожу сдери с себя и все остальное ради Христа!

Nada, nada, nada! Hasta dar un pellejo y otro por Christo!» (Bruno, 250–428. Noorn., 142).

Надо человеку «принести себя в жертву Христу до пол-

ного самоуничтожения. Должно иметь дух... уничтоженный для всего сотворенного» (Abr., 117), – учит св. Иоанн Креста (Noon., 211–212). «Должное получает Бог только тогда, когда человек совсем уничтожен», – учит Кальвин (Кальвин, 41); учит и Лютер «...самоуничтожения, самоотречения даже до ада, *annihilatio, resignatio ad infernum*». «Самоуничтожения», *annihilatio* – те же слова для того же религиозного опыта у Лютера и св. Иоанна Креста. В этом буддийском уклоне христианства, в смешении средства – «Самоуничтожения», – с целью – Воскресением, римское католичество согласно с протестантством; здесь происходит уже не разделение, а соединение Церкви, но не в силе их, а в слабости. Видно по этому, до какой глубины христианство искажено этим буддийским уклоном.

Ужас и крутая стезя на вершину Кармеля – к «согласию противоположностей» – ведет между безднами противоречий. Вот из них первая: «Если Бог – все, а тварь – ничто, то Бог не творит, а уничтожает мир». Что же значит: «Бог так возлюбил мир, что отдал Сына своего Единородного за мир»? (Ио., 3, 16), и как Бог, который есть «Все», мог соединиться в Богочеловеке, Христе, с Иисусом человеком, который есть «Ничто», Nada? А если нет Христа, то нет христианства. В религиозном опыте «самоуничтожения» св. Иоанна Креста нет ответа на этот вопрос.

Бездна вторая: «Сверхъестественное не входит в естественное и не имеет ничего общего с ним», – учит Иоанн Креста (Noorn., 211–212). Но что же такое главный религиозный опыт христианства – Богочеловечество, как не вхождение «сверхъестественного» – божественного – в «естественное» – человеческое? Если тварь – плоть – не соединима с Богом, то как могла плоть соединиться с Богом во *Христе*, в Человеке Иисусе, в Котором «вся полнота Божества обитала телесно, – плотски»? (Кол., 2, 9). А если это не могло быть, то опять нет Христа, нет и христианства.

Третья бездна: «Кто хочет видеть Бога в чувственном образе, тот никогда ничего не уразумеет в Нем», – учит Иоанн Креста. Что же значит «чувственный образ» Бога в вопло-

щении Сына Божия?

Филипп сказал Ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Сколько времени Я с вами и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня, видел Отца; как же ты говоришь: „Покажи нам Отца“ (Ио., 14, 8–9).

«Я не говорю об Иисусе Христе и Его божественном человечестве, – оговаривается Иоанн Креста. – Если должно забывать все другое, видимое и плотское, что преграждает путь к соединению с Богом, тоже следует забывать То-го, Кто сделался человеком ради нашего спасения» (Dem., 131). *Но как соединить отрицание всех* чувственных образов с утверждением единственного Образа – человека Иисуса? В религиозном опыте «самоуничтожения» у Иоанна Креста нет ответа и на этот вопрос.<...>

Пятая бездна: в том же опыте «самоуничтожения» Воскресение Христа как бы вовсе отсутствует. Иоанн Креста верит, конечно, в Его Воскресение, но кажется иногда, что вера его остается только внешним, мертвым догматом, не делается живым – внутренним опытом. Воскресение не нужно ему – нужна только Голгофа, Крест бесконечный и окончательный, как символ Самоуничтожения. Человек со Христом умирает без воскресения – «уничтожается». «Смертная мука Христа будет продолжаться до конца мира» – это страшное слово Паскаля мог бы повторить и св. Иоанн Креста.

Бездна шестая: «чувственная радость» Таинства Евхаристии есть для Иоанна Креста «немоощь», почти грех «начинающих», *principantes*, «не совершенно очищенных» от соблазна плоти (Вагузи, 565). Что же значит доступное чувствам, действительное, Присутствие Христа в Теле и Крови Таинства? Нет ответа и на этот вопрос в религиозном опыте «самоуничтожения» у Иоанна Креста. Но если бы довести до конца это учение о сверхчувственности Таинства Евхаристии, то получилось бы его отрицание большее, чем у Лютера, и не меньшее, чем у Кальвина. И здесь опять католичество согласно с протестантством в буддийском уклоне христианства.

И наконец, последняя бездна, самая головокружительная из всех: в том же религиозном опыте «самоуничтожения», кенозиса, «святость» становится грехом духа, хуже всех грехов плоти, – гордынею. «Радуюсь ныне в страданиях моих за вас и **восполняю** в плоти моей недостаток страданий Христовых» – это слова ап. Павла (Кол., 1, 24), ложно понятое в буддийском уклоне христианства, значит «восполняю недостаточную – страшно сказать – меру крестных мук Господних – муку Его превосхожу моей». В подвиге Самоуничтожения человек идет на Голгофу не **вместе** со Христом, а **вместо** Христа; умирает на кресте не вместе со Христом, а вместо Христа, во грехе «святости», страшнейшем из всех грехов.

6

«Два противоположных начала (Бог и тварь) не могут соединиться... по учению философии», – так для Иоанна Креста в религиозном опыте Самоуничтожения, кенозиса (Bruno, 205). Но по его же собственному учению: «Бог непознаваем для человеческого разума». «Бог общается с душою... посредством чистого духа, для которого не существует логической связи понятий». Если так, то разумом, логикой не отменяется мистика. В высшем религиозном опыте христианства – Три в Одном – Отец и Сын, – «два противоположных начала» – говоря не на языке философском, религиозно-неточном и недостаточном, но на том, на котором здесь говорит и сам Иоанн Креста, соединяются в третьем Начале – Духе. Вот почему высший религиозный опыт Иоанна Креста, в котором преодолевается буддийский уклон христианства – Самоуничтожение, – и будет Троичным. Понял и св. Иоанн Креста то, что поймет Паскаль, – что последняя цель узкого и крутого, между головокружительными безднами противоречий ведущего пути на вершину Кармеля, заключается в том, чтобы «согласовать противоположности, accorder les contraires».

Знал, вероятно, Иоанн Креста, так же как учения других великих арабских богословов, суффитское, идущее, должно быть, с дальнего, буддийского Востока, учение Ибн Араби:

«Должно созерцать Бога вне всякого соединения с миром».

«Сколько тебе лет?» – спросили однажды другого суфитского учителя, Абу Иазид. «Четыре года», – ответил он, а когда люди удивились, потому что он был глубокий старик, Абу Иазид объяснил: «Семьдесят лет я был отделен миром от Бога и увидел Его только в последние четыре года, а жизнь человека не жизнь, пока на глазах его покров – мира, твари».

То же, хотя иными словами, говорит св. Иоанн Креста: «Я ничего не знаю...»

«Опьяненная вином божественной мудрости душа забывает весь мир, и все, что она знала раньше, ей кажется невежеством» (Baruzi, 375). По таким совпадениям не только с мусульманским, но и с буддийским Востоком видно опять, как глубока в христианском опыте Самоуничтожения буддийский уклон.

Кажется, стихи о «Пещере Лампад» в «Живом Пламени Любви» внушены Иоанну Креста книгой Магомета Аль-Газеля под тем же заглавием, «Пещера Лампад»:

О, лампы пламенеющие,
В чьем лучезарном сиянии
Чувства пещеры глубокие,
Некогда слепые и темные,
Даруют неистошимо
Свет и тело Жениху! (Hoorn., 144)

«Эти пещеры, – объясняет Иоанн Креста, – суть силы ду-

ши: память, разум и воля; их глубина соразмерна тем великим благам, какие могут они вместить, чтобы наполнить их, нужна бесконечность... Но если они от всякой любви и твари не очищены, то глубины и пустоты своей не чувствуют и всякой малости в этой (земной) жизни достаточно, чтобы... обратить их и обмануть так, что они уже не помнят и не желают потерянных благ. И всего удивительнее то, что хотя могут они вмещать благо бесконечное, но и малейшего блага достаточно, чтобы лишиться их всех остальных (величайших): вот почему нужно им совершенно опустеть и очиститься, чтобы видеть свою пустоту. Когда же они совершенно пусты и чисты, то голод и жажда их становятся невыносимыми. Чрева эти бездонно глубоки, так же глубоки и страдания их, потому что голод их может насытиться только Бесконечностью в Боге. Мука эта начинается, обыкновенно, в ту минуту, когда озарение и очищение души уже совершилось, а соединение (с Богом)... еще не наступило... Смертных мук страшнее эта мука пустоты и больше всего терзает душу тогда, когда луч божественного Света проникает в нее, как бы сквозь щель, но еще не сообщается ей. Такова участь тех, кто терзается такой нетерпеливой любовью к Богу, что принужден выбрать одно из двух: или соединение с Богом или умереть» (Hoorn., 203).

Здесь, у Иоанна Креста, уже переход от низшего религиозного опыта к высшему: Самоуничтожение – уже не достигнутая вещь, а только достигающий путь, не хлеб и вода, а

только «голод и жажда». Здесь же предчувствуется, что утоляется этот голод и жажда, пустота этих «бездонно глубоких чрев» наполнится в высшем религиозном опыте уже не Двух – Отца и Сына, а Трех – Отца, Сына и Духа. Но здесь же начинается и та «Темная Ночь», чья «мука страшнее смертных мук».

«По мере того как душа приближается к Богу, вследствие слабости ее, усиливается чувство глубокой Ночи: так слишком яркий солнечный свет слишком слабому зрению кажется мраком... Сила божественного Света так превосходит человеческий разум, что ослепляет и затмевает его... Все (на этом пути) – опасность, все грозит ошибкой, потому что тот естественный свет, который ведет нас на всех других путях, на этом – больше всего обманывает нас и мешает нам идти к Богу. Вот почему, если мы хотим быть уверенны, что идем не по ложному пути, то должны закрывать глаза и обрекать себя на мрак... который служит для души убежищем от нее самой и от всей твари» (Noorn., 109. Abr., 145).

Чтобы достигнуть того, чего ты не знаешь,
Надо пройти через то, чего мы не знаем (Baruzi, 314).

Этот узкий и крутой над страшными безднами, но единственно верный путь на вершину Кармеля – не первый путь – Самоутверждения, где Бог поглощается тварью, и не второй – Самоуничтожения, где Бог и тварь соединяются, – этот

путь на вершину Кармеля ведет сквозь Темную Ночь «пре-
исподнего опыта».

7 Темная ночь

Только в здешнем мире живет душа человеческая, освещенная сознанием, дневная, а не освещенная, ночная, хотя и живет тоже в мире здешнем, но редко или часто, смотря по человеку, заглядывает из этого мира в тот, как человек заглядывает через окно из освещенной комнаты в темную ночь. Смысл этих двух слов «темная ночь» так обыкновенен для большинства людей с дневной «душой», что им кажется, что о нем и думать нечего. Но для Иоанна Креста с его ночной «душой» этот смысл так необычен, что он о нем только и думает. Можно сказать, что все, чем он жил, и все, что он сделал, находится под знаком «Темной Ночи», «Noche Oscura».

О, Ночь, меня ведущая,
Блаженнее Зари!(Baruzi, 322).

Но прежде, чем наступит эта блаженная Ночь, человеку надо пройти сквозь ту, в которой «мука хуже смертных мук», или, точнее, сквозь две Ночи – «Ночь Чувства», «Noche del Sentido», и «Ночь Духа», Noche del Espíritu.

Внешние чувства в первой Ночи остаются такими, как были, но их внутреннее действие на душу человека постепенно убывает: бледнеют цвета, мутнеют образы, глохнут звуки, слабеют запахи, осязание тупеет, как в параличе. Если

бы человек в состоянии такой внутренней бесчувственности ударил кулаком об стену, чтобы убедиться в существовании внешнего мира, как это делал Иоанн Креста, то не убедился бы: так для него призрачен весь внешний мир.

В этой Ночи Чувств сам человек ничего не делает, с ним делается все: он не идет в темноту этой внутренней ночи – темнота ее сама идет на него; плоти своей не умерщвляет он – сама она умирает, опять-таки не внешней, а внутренней смертью. С ним происходит нечто подобное тому, что с умирающим от голода, когда ему уже не хочется есть, потому что желудок его суживается в кулачок, с терзающей мукой внутренностей. Это «Ночь сухости», потому что все источники засыхают в ней (Hoorn., 34). Все радости жизни для человека в этой Ночи, как те плоды Мертвого моря, которые, когда их пробуют есть, рассыпаются во рту горьким пеплом. «Я сведен был ни к чему и ничего уже не знал. *Ego ad nihilum reductus et nescivi*», – мог бы сказать человек в этой Ночи, как говорит прошедший сквозь нее Давид (Hoorn., 38).

В ней умирают все похоти, но диавол иногда воскрешает самую сильную из них и неодолимую – сладострастие. «Ангел Сатаны, дух блуда является один и мучает их... такими постыдными мыслями и такими живыми видениями, что это для них страшнее смерти». Похоть искушает их и в самой горячей молитве, и даже в таинстве Евхаристии. Чем больше искушаемый боится похоти, тем скорее она приходит к нему, тем сильнее она искушает его. На других нападает дух бого-

хульства и внушает им всевозможные хулы на Бога так ясно и живо, что и язык готов их произнести. И еще на других нападает дух безумия, внушая им тысячи угрызений и недоумений, таких запутанных, что, кажется, из этой путаницы нет выхода... Это один из величайших ужасов «Темной Ночи Чувства» (Noorn., 51, 15).

«Главная мука для погруженных в эту Ночь есть мысль, что они заблудились в ней, что все их духовное сокровище потеряно и что Бог покинул их навсегда, потому что никакие труды и подвиги благочестия им уже не помогают» (Noorn., 35). «Те, кто подвергаются этому искушению, не смеют поднять глаз, потому что все искушает их... и они доходят до того, что им начинает казаться, что они находятся в прямых сношениях с дьяволом» (Noorn., 17).

Гибелью кажется человеку эта Темная Ночь, а на самом деле она для него спасение: «Едким щелоком ее очищается душа его» от нечистой любви к твари (Bruno, 211). «Чистотою, сухостью и внутренним мраком Ночь Чувства удаляет начинающих (духовную жизнь) от всех чувственных влечений» (Noorn., 27). «Бог отлучает душу человека от Себя, подобно тому как отнимают младенца от груди матери (Noorn., 209). Бог помогает человеку исполнить то, чего он еще не исполнил, – тесными вратами войти в вечную жизнь, возненавидеть весь мир и возлюбить одного Бога.

Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя

И возьми крест свой, и следуй за Мною, —

вот что заглушается звуками дня, и что слышится только в тишине Темной Ночи (Мрк., 8, 34). В ней понимает человек то, что понял пророк, прошедший сквозь эту Ночь:

Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел; как скот я был невежда и не разумел; как скот был я пред Тобою. Но я всегда с Тобою; Ты держишь меня за правую руку... и ведешь меня... Кто мне на небе? и с Тобой ничего не хочу на земле (Пс., 72, 21–25).

«Но как ни страшна для души эта первая Ночь Чувства, ее нельзя и сравнить со второю Ночью Духа (Abr., 107. Noorn., 27). Если та – преддверие Дантова ада, где мучатся только искупающие первородный грех младенцы, то эта – уже настоящий ад. Все начинающие духовную жизнь проходят сквозь Ночь Духа – „только немногие братья и сестры... святого Братства (Кармеля)“, – значит, только избранные среди избранных, будущие вожди христианского человечества (Baruzi, 229). „Ночь Духа – только для немногих, «para muy pocos» (Bruno, 213). На этой страшной наковальне кует Господь крепчайшую для своего оружия сталь.

Именно в ту минуту, когда вышедшим из первой Ночи Чувства кажется, что «они идут уже в ярчайшем солнце милостей Божьих, Господь внезапно погружает их снова во мрак» (Noorn., 28). «В сына Божия, Жениха своего, влюбленная и желающая соединиться с Ним, тоскует душа (в этой Ночи), и плачет о том, что, мучимая глубокою раною любви, которую Он ей нанес, отреклась она (для Него) от всей твари и от себя самой, а Он в этой-то муке ее и покинул» (Abr., 196).

Здесь, в Ночи Духа, совершается шестеричная жертва – чувственности (начатая в первой Ночи, она кончается здесь, во второй), разума, памяти, воображения, воли и веры. Вот

почему на рисунке Иоанна Креста, в надписи при входе на гору Кармель шесть раз повторяется слово «Ничего», Nada (Dem., 148). Ночь Духа темнее Ночи Чувства, потому что «гасит самое святое, что есть в человеке, – разум» (Dem., 129). Тьма этой второй Ночи так непроницаема, что, по сравнению с нею, тьма первой – только вечерние сумерки. Будет тьма по всей земле Египетской осязаемая тьма (Исх., 10, 21). Точно такая же тьма и в Ночи Духа. Если бы зажглись в ней огни, то в темноте горели бы они без лучей, как дневные звезды в несказанно черной ледяной стратосфере; сразу начиналась бы у пламени, плотно к нему прилегающая, неосвященная – неосветимая тьма. «Свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ио., 1, 5). Нет, объяла. Тьма древнее и сильнее света. «Тьма была над бездною... И сказал Бог: „Да будет свет“. И был свет» (Быт., 1, 2–3). Но свет потухнет, и снова будет тьма. Все миры и созвездия – только улетающие в вечную Тьму искры потухающего костра: так чувствуют погружение в «Ночь Духа».

Самое страшное в этой Ночи Духа – потеря веры: здесь совершается умерщвление не только всех земных, плотских, но и всех духовных, небесных радостей, потому что «любовь к благам сверхъестественным делает соединение (человека) с Богом таким же невозможным, как и любовь к благам естественным» (Dem., 134). «Чтобы идти к соединению с Богом, душа должна пребывать в темноте, ослепнув не только ко всей твари, но и к самому Богу... Главное для души – опусто-

шиться от всех восприятий так, чтобы, если бы даже сверхъестественные блага давались ей Богом в изобилии, она бы лишалась их по мере того, как эти блага ей даются... Ей должно быть в темноте, как слепому, опираясь только на земную (бывшую) веру... плохо идет за поводырем не совсем слепой, потому что ему все кажется, что он видит дорогу» (Abr., 15–16. Bruno, 206).

Трудно поверить, чтобы такой великий святой, как Иоанн Креста, мог сказать: «Чтобы человеку соединиться с Богом, надо ему потерять веру в Бога». Этого никогда никто из святых не говорил, кроме него. Даже самым близким к нему, таким, как Тереза, которая поняла первая, что он – святой, было от этого так страшно, что она сомневалась в необходимости Темной ночи Духа; ей иногда казалось, что «диавол искушает людей этой чрезмерностью подвигов», что «можно спастись... более надежным путем смирения, умерщвления плоти, самоотречения и других добродетелей...» и что «на этом пути нет никакой опасности, а совершенство и на нем достигается, как в вышнем созерцании» (Dem., 153–154. Camino de la Perf., с. 18). Но, по учению Иоанна Креста, этот «более надежный путь» ведет к тупику, общий путь среднего благочестия, на котором происходит «смягчение», *mitigatio* того, что кажется людям слишком «жестоким» в учении Христа.

«Темная Ночь» Иоанна Креста не окончена: бóльшая часть ее потеряна или уничтожена, может быть, Инквизицией, а может быть, и им самим, или не дописана, оттого, что и ему было слишком страшно то, что он хотел и должен был сказать в этой части книги (Noorn., 141. Abr., 158), потому что о «потере веры» он говорит, конечно, не по чужому, а по своему собственному «преисподнему опыту». А если бы он ее дописал, и судьи его, инквизиторы, прочли ее, то, вероятно, он был бы или сожжен на костре и уж, во всяком случае, венцом святости не был бы увенчан.

«Годы может продолжаться Ночь Духа», а значит, и потеря веры тоже (Noorn., 73). И если потерявший веру – учитель, которого люди считают святым, как Иоанн Креста, то все эти годы, чтобы не соблазнять людей, он должен если не притворяться верующим, лгать, то скрывать от всех то, что в нем происходит.

Не только сомнение Вольтера, но и отрицание христианства у такого великого мудреца, как Спиноза, перед сомнением и отрицанием такого великого святого, как Иоанн Креста, – ничто, потому что те падают в яму, а этот – в преисподнюю.

В страшной пустоте Темной Ночи Духа «человек задыхается, как в безвоздушном пространстве, или висит, как по-

вешенный, лишенный всякой точки опоры» (Авр., 131. Нотоп., 68). Нечто подобное испытал, может быть, Иоанн Креста, когда бежал из Толедской тюрьмы и, спускаясь из окна по веревке, вдруг увидел, что она до земли не доходит и что он висит над пропастью; то же испытал он, может быть, когда упал в колодец и, вынырнув из воды, но еще не увидев Дневной Звезды, сидел на скользкой и гнилой, гнувшейся под ним доске, зная, что если она подломится, то он упадет в воду и уже не вынырнет.

10

Люди не в силах помочь погруженному в Ночь Духа. «Все вы бесполезные врачи» – мог бы и он сказать людям, как Иов – друзьям своим. «Слышал я много такого; жалкие утешители все вы... Говорил бы и я, как вы, если бы душа ваша была на месте души моей» (Иов, 13, 4; 16, 2–4). Не может ему помочь и Бог, потому что когда он молит Его о помощи, то молитва его не подымается к небу, а падает назад, как по земле в сырую погоду стелющийся дым. В этой Ночи Духа «уже невозможно молиться», вспоминает Иоанн Креста, «а если и молишься, то с такой сухостью и безнадежностью, что, кажется, Бог не слышит молитвы... Да и в самом деле, лучше тогда не молиться, а только, лежа лицом в пыли, покорно и молча терпеть эту муку» (Noorn., 77. Abr., 134). Знает ее Праотец Господень, Давид, прошедший не только сквозь первую Ночь Чувства, но и сквозь вторую Ночь Духа:

Я сравнился с нисходящими в могилу... между мертвыми брошенный, как убитые, лежащие во гробе, о которых Ты (Господи) уже не вспоминаешь и которые от руки Твоей отринуты (Пс., 87, 5–6. Noorn., 66).

«В этой Ночи отчаяния и отверженности... память о бывших духовных радостях и уверенность в том, что они уже никогда не вернутся, усугубляет муку» (Abr., 132. Noorn., 66). «Душа, угнетенная неимоверною и невидимою тяжестью,

как бы растерзывается и размалывается Богом, как жерновами – пшеница, и, погружаясь в крошечную тьму, уничтожается» – умирает тою «второю смертью», от которой, по страшному слову Апокалипсиса, «нет воскресения» (Ноогн., 66). «Кажется душе, что она заживо проглочена зверем и переваривается в темном чреве его с такими муками, какие испытал Иона (во чреве кита). Больше всего мучает ее уверенность, что Бог отвергнул ее с омерзением и низринул во тьму» (Ноогн., 66–67. Abr., 130–131). «Кажется душе, что ее преследует Бог, как врага. „Зачем Ты поставил меня врагом Себе, так что я стал самому себе в тягость?“ – жалуется подвергшийся такому испытанию Иов (Ноогн., 64).

Ужас человека в Ночи Духа, и может быть, и самого Иоанна Креста – ужас Лютера: «Бог хранит для нас великие искушения, в которых мы уже не знаем, не диавол ли Бог и не Бог ли Диавол» (Лютер, 31). Или еще страшнее: нет ни Бога, ни диавола, и правы безбожники.

За что такая страшная казнь постигает в Ночи Духа великих святых, избранных среди избранных? За «грех святости», – за то, что человек распинается не *вместе* с Христом, а *вместо* Христа. «Бог сообщает душе... страшную силу» (Abr., 215). Бог говорит людям: «Вы – боги, *dii estis*» (Пс., 81, 6); но и диавол говорит им почти то же: «Будете, как боги, *eritis sicut dii*» (Быт., 3, 5. Cántico del Espíritu, с. 20). Здесь только один волосок отделяет Бога от диавола и величайшую святость от величайшего из всех грехов – гор-

дыни. Вот за этот-то «грех святости» и казнится человек в Темной Ночи Духа.

Можно сказать о муках человека в этой Ночи, что «он заживо нисходит в ад» (Abr., 132. Noorn., 69). Тело еще на земле, а душа уже в аду, и эта разлука души с телом так невыносима, что человек хотел бы кинуться в ад, только бы скорее душа снова соединилась с телом, потому что воскресает в вечную жизнь, или вечную смерть весь человек с «душой и с телом», и так же, как на небе прославленные, преображенные, будут и в аду обесславленные, обезображенные, «духовные тела». «Смертная мука (в Ночи Духа) такова... что для тех, кто мучится ею, была бы облегчением и милостью смерть» (Noorn., 65). Если довести эту мысль до конца, то будет искушение вольною смертью – самоубийством.

И сказала ему (Иову) жена его: «Ты все еще тверд в непорочности твоей; похули Бога и умри» (Иов, 2, 9).

Может быть, в уничтоженной или недописанной части «Темной Ночи Духа» св. Иоанн Креста говорил и об этом последнем, самом страшном, искушении – самоубийстве.

Если человеку уже и в Темной Ночи Чувства кажется, что он находится в «прямых сношениях с дьяволом», то тем более – в Ночи Духа. Дьявол, кажется ему, уже не только около него, но и в нем самом, и что даже он сам – дьявол. Если и об этом говорил Иоанн Креста в потерянной части «Темной Ночи», то опять, конечно, не по чужому, а по своему же собственному опыту. Когда иноки Саламанкской обители, зави-

дев издали подходившего к ним Иоанна Креста, говорили: «Братья, уйдем поскорее, вот диавол идет!» – то, может быть, он и сам себе казался диаволом. И когда утешал духовную дочь свою, донью Анну де Пеньялоза, после смерти мужа ее и единственной дочери: «Ничего, ничего, ничего – шкуру сдери с себя и все остальное ради Христа!» – то, может быть, читая в глазах ее такой же перед ним ужас, как перед диаволом, и не мог решить, больше ли она ошибалась, когда он казался ей «великим святым», или когда казался «диаволом». Вот еще одна из многих причин того «злого колдовства», которое, по слову Терезы, тяготело над Иоанном Креста, – его великого одиночества.

Может быть, самые глубокие книги и самые нужные людям – неконченные – бесконечные. Две такие книги – «Темная Ночь» Иоанна Креста и «Книга Иова». Больше всего любил Иоанн в Ветхом Завете, кроме Псалмов, «Песнь Песней» и «Книгу Иова», – ту, в своем приближении к Богу, в блаженстве, а эту, в отдалении от Бога, в страдании, потому что Иов прошел сквозь такую же Темную Ночь Духа, как и он. «Иов сделал тот же опыт», – говорит Иоанн Креста (Noorn., 65).

Слишком очевидно конец «Книги Иова» ей самой не соответствует; конец ее только доказывает, что кончить ее так не мог бы тот, кто ее написал, или что так написать не мог, кто так кончил.

Бог, отвечающий Иову в громе и молниях, вовсе не отвечает ему на вопрос его о правосудии Божиим:

Пытке невинных посмеивается Бог. В руки нечестивых отдана земля; лица судей ее Он закрывает, если не Он, то кто же? (Иов, 9,23–24).

«Можем ли удою вытащить Левиафана?.. Крепкие щиты его – великолепные... круг зубов его – ужас... Он – царь над всеми сынами гордости» (Иов, 40, 20; 41, 7, 6, 26) – во все не ответ на вопрос Иова. Да и Бог ли отвечает ему? Может и диавол греметь и блистать в молниях. Бог, отвечаю-

щий Иову, вовсе не тот, которого он спрашивал, и смиренный Иов, «кающийся во прахе и пепле» (Иов, 42, 6), вовсе не тот, кто говорит Богу: «Вот, я кричу „Обида!“, и никто не слушает; вопию, и нет суда» (Иов, 19, 7).

Только один волосок отделяет покорность Иова, а может быть и св. Иоанна Креста, от такого бунта, что, по сравнению с ним, бунт Прометея – ничто, потому что тот ненавидит Бога, как врага своего; Иов же и св. Иоанн Креста любят Его, как отца, а любящий имеет большее право, чем ненавидящий, на бунт против любимого, если тот к нему несправедлив.

Главное страдание Иова – не проказа, не потеря богатства, не смерть детей, а та самая «потеря веры», о которой в «Темной Ночи Духа» говорит Иоанн Креста, и причина этой потери – сомнение в правосудии Божиим. Что, если крестный вопль Иисуса: «Боже мой, Боже мой, для чего Ты Меня оставил?» – такой же вопрос без ответа, как все вопросы Иова, – вот, может быть, самое страшное сомнение Иоанна Креста, в Темной Ночи Духа чернейшая тьма, – то искушение, которого так боялся Лютер: «Бог хранит для нас великие искушения, в которых Бог нам кажется дьяволом, а дьявол – Богом».

Бог судит человека, но и человек судит Бога. Вечная тяжба человека с Богом – такой смысл книги Иова.

Чувствуя издали смрад прокаженного, люди бегут от него; точно так же, чувствуя издали ужас Темной Ночи Духа, люди

бегут и от того, кто мучается в ней. Ни ему, ни Иову никто из людей не может помочь.

Иова утешит только Тот, Кто страдал больше и прошел сквозь темнейшую Ночь Духа, чем он, Тот, на чьем теле красные капли кровавого пота страшнее, чем белые пятна проказы на теле Иова. Чтобы рассудить его с Богом, нужен между ними *Посредник*.

Бог не человек, как я, чтобы я мог отвечать Ему и идти с Ним на суд. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас (Иов, 9, 32–33).

Нет между ними Посредника, но будет, – Иов знает это:

Жив Искупитель мой, и Он в последний день восставит распадающуюся плоть мою из праха... И я увижу Бога (Иов, 19, 25–26).

Иова утешит не Тот, Кого знают все и Кому поклоняются, как «Царю ужасного величия», Rex tremendae maiestatis, а Тот, Кто говорит о Себе:

Я – червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе (Пс., 21, 27) —

Иисус проклятый. Спасший Иова из Темной Ночи Духа, спасет Он и всех, кто мучается в ней.

О первом шаге к спасению, первом луче света, брезжащем в «Темной Ночи», в уцелевшей части книги Иоанна Креста, умолчано, но, может быть, сказано в уничтоженной части. Ясно только одно: Кто-то неузнанный, с лицом в темноте невидимым, подходит к человеку в этой Ночи, и кажется ему сначала врагом и губителем, может быть, самим дьяволом, а потом оказывается другом и спасителем. Всего удивительнее, что и сам Иоанн Креста лица Его не видит, может быть, потому, что боится узнать «в Царстве величия, в Том, Кого знают все таинственные Спутники в Темной Ночи», Иисуса Неизвестного, Проклятого. Только о Боге говорит он, а о Сыне Божьем молчит; даже имени Иисуса не произносит ни разу. Самые вещие слова Иова об Испытателе умолчаны в Темной Ночи Духа; только отчаяние Иова помнит Иоанн Креста, а надежду его забывает.

Но о дальнейшем пути спасения и о выходе человека из Темной Ночи к свету уже сказано ясно и в уцелевшей части книги. Так же, как в первой Ночи Чувства, и здесь, во второй Ночи Духа, то, что казалось человеку гибелью, оказывается спасением. Здесь происходит то, что в математике называется «перывом», а в религии «обращением». По-гречески «обратиться» – значит перевернуться так, чтобы то, что было для вас внизу, было наверху». «Должно возвышаться так,

что выше нельзя, и унижаться так, что ниже нельзя», – учит Иоанн Креста. Это и происходит в том «перевороте», «перевороте», «перевороте», который совершается в Темной Ночи Духа.

«Только так, ничего не чувствуя и не понимая, находясь в пустоте и во мраке, душа может понять все, таинственно исполняя в себе слова ап. Павла: „Мы ничего не имеем и всем обладаем“. Именно такая нищета духа такого „блаженства достойна“, по слову Господа, „Блаженны нищие духом“ (Матф., 79).

Чтобы всем обладать,
Не имей ничего.

Para venir a poseerlo Todo
No quieras poseer algo en Nada.
(Baruzi, 312)

Это и есть путь, ведущий на вершину Кармеля, «Ничего и Всего»: что казалось Ничем, будет Всем. Кажется, знает этот путь (хотя и видит его, конечно, совсем с другой стороны) человек наиболее противоположный в мире Иоанну Креста, Гёте:

Все должно в Ничто распасться
Да пребудет в бытии.

Вот почему и Фауст, спускаясь в Царство Матерей, гово-

рит Мефистофелю:

В твоём Ничто я Все найти надеюсь.

In deinem Nichts hoff'ich das Alles finden.

«Только что душа совершенно... очистится от всех внешних представлений и образов, как будет в простом и чистом свете, потому что он никогда не потухает в ней, но вследствие внешних помех и покровов, идущих от твари, остается для нее невидимым» (Baruzi, 487). «Луч солнца, проникающий в комнату, тем более видим... чем больше в воздухе пылинок; если же воздух совершенно чист, то луч невидим и как бы темен, потому что для глаза видим не свет, а лишь та среда, через которую свет проходит» (Hoorn., 77–78. Baruzi, 481). «Действие Бога на душу так же несомненно, как действие солнца на открытое пространство, где нет для солнца преград. И так же, как утренние лучи его входят в (темную) комнату, только что открываются ставни, – Бог входит в душу, освобожденную от всего, что не Бог, и наполняет ее дарами своими. Бог сияет надо всеми душами и сообщается им всем» (Hoorn., 218). «Бог присутствует существенно (substantialiter) и в душе величайшего грешника. Только соединение с Богом дает бытие всей твари; а если бы соединение это прекратилось, то вся тварь вернулась бы в небытие» (Abr., 20). «Когда Бог освобождает человеческую душу от страстей и совершенно очищает ее, то Он... делает нечто

большее, чем когда извлекает ее из небытия в бытие, потому что страсти этому действию (Божьему) противятся больше, чем небытие, неспособное к такому противлению» (Demim., 144. Subida del Monte Carmel, I. 1, cap. VI).

«Чувственная часть души очищается сухостью, умственная – пустотой, а духовная – непроницаемым мраком» (Abr., 68). «Мучима душа во мраке, ее покрывающем духовным огнем, который иссушает ее и очищает, чтобы сделать ее достойной соединения с Богом. Пока не сойдет в нее от Бога луч сверхъестественного света, Бог для нее только непроницаемый мрак, между тем как в духе Он уже с нею, но чрезмерною силой своей этот сверхъестественный свет затмевает естественный» (Abr., 204). Вот почему Свет Божий кажется «мраком». «Знание, свойственное созерцанию, – учит св. Дионисий Ареопагит, – есть для разума Луч Мрака, *rayo de tinieblas*» (Hoorn., 220. Baruzi, 304). «Разум ослепляется Богом так, что видит только Божественный Мрак, *die Gottliche Finsterheit*», – учит и Генрих Сузо (Baruzi, 311). Совпадением таких, разделенных веками и друг от друга независимых, религиозных опытов подтверждается их подлинность.

«Сердце, желающее мира и покоя, должно обладать чем-нибудь», – заключает Иоанн Креста. Когда же сердце одержимо сильнейшею любовью к Богу, то для него уже не существует никакой любви ни к самому себе, ни к твари; в нем остается только пустота и мука, которые будут продолжаться, пока не наступит совершенное соединение с Богом. Чув-

ство это можно сравнить с пустым, ожидающим наполнения сосудом, или с ожидающим выздоровления больным, или с лишенным точки опоры повешенным» (Abr., 220). Но только что «Божественная сухость» останавливает работу всех душевных сил, как Бог начинает действовать в душе (Noorn., XXIV). «Видит душа, что ничего не делает, и хочет вернуться к деланию, но это порождает в ней только рассеянность, сухость и скуку, между тем как ей следовало бы радоваться покою, миру и тишине, в которых угодно было Богу сообщить ей тайную слабость свою. Чтобы научить и просветить ее, Он иногда продолжает покоить ее в молчании, но она Ему противится, уступая все еще действующим в ней воображению и размышлению. В этом подобна она ребенку, которого мать несет на руках и который плачет и вырывается из рук ее, чтобы идти самому; а мать, зная, что он ходить еще не умеет, и не желая, чтобы он упал, сама должна стоять на месте... Вот почему душе, при этом начале успокоения (первом луче Божественного Мрака-Божественного Света в Темной Ночи Духа), должно помнить, что если она не чувствует движения вперед и как будто стоит на месте, то она, на самом деле, движется гораздо скорее, чем если бы сама себя двигала, потому что Бог несет ее на руках своих, и шаг Божий – шаг души... И хотя сама она ничего не делает, но за нее делает Бог, и это для нее спасительнее, чем все, что она могла бы сделать сама» (Noorn., 231).

Так из «преисподнего опыта» рождается то, что Иоанн

Креста называет «преисподним блаженством», *abismal dileite* (Baruzi, 427), и восходит из Темной Ночи Духа заря Невечернего Дня. Вот что значит:

О, Ночь, Меня ведущая,
Блаженнее зари!

Так вступает в рай земной здесь еще, на земле, смерть и ад победивший человек, новый Адам, и уже не выйдет из рая, как ветхий. Но это блаженство еще «преисподнее», и этот рай пахнет адом, как спасение из пламени пожара пахнет дымом.

13 Светлый день

Светлый День, – если бы так Иоанн Креста назвал то, во что человек восходит из ада Темной Ночи, то смысл этих двух слов «светлый день» такой обыкновенный и незначительный для большинства людей с их «дневной душой», что им кажется, что о нем и думать нечего, был бы для Иоанна Креста с его «ночной душой» так же глубок и необычен, как и смысл тех слов: «Темная Ночь». И если все, чем он жил, и все, что он сделал, находилось под знаком «Темной Ночи», то все, что он, может быть, сделает еще для мира, когда мир вспомнит о нем и поймет его, будет находиться под знаменем «Светлого Дня».

Когда из мертвенного воздуха я вышел,
Печалившего сердце мне и очи,
То усладил их разлитой по небу...
Прозрачному до высокой сферы звезд...
Сладчайший цвет восточного сапфира,
И в нем четыре я звезды увидел,
Невиданные от начала мира.
Как радуется им не наше небо!
О, вдовствующий Север наш, пустынный,
Лишенный тех божественных огней!

(Данте, 136)

Так вспоминает Данте о том, как вышел он с Вергилием из ада в противоположную гемисферу земли, потому что, сползая, как блохи, по густой шерсти чудовищно огромного тела Сатаны, стоящего в центре земли вниз головой, в том положении, в каком был он низвергнут с неба в ад, сами они, Данте и Вергилий, того не сознавая и не чувствуя, «перевернулись вниз головой», по слову Господню: «Если не *обратитесь* – не *перевернетесь*, *mê straphête*... то не можете войти в Царство Небесное» (Данте, 137).

Радуетя Данте тому, что первый из людей верхней гемисферы видит на неизвестном небе нижней – сверкающее в красоте несказанной четверозвездие Южного Креста. Радуетя, может быть, также и Иоанн Креста, когда, выйдя из ада Темной Ночи в Светлый День, видит тоже на неизвестном небе противоположной гемисферы никем из живых еще не виданный Крест: там, в верхней гемисфере, Крест был символом муки и смерти; а здесь, в гемисфере нижней, он – символ вечной жизни и радости.

По тем волнам, куда я путь мой правлю,
Никто еще не плавал никогда, —

мог бы сказать и св. Иоанн Креста, как Данте, с большим правом, чем Колумб, потому что внутренний Новый Свет, материк духовный, открытый Иоанном Креста, больше, чем материк вещественный, Новый Свет внешний, открытый Ко-

лумбом.

Того, о чем теперь сказать я должен,
Не говорил ничей язык, и не писало
Ничье перо, и никому о том
не грезилось, —

мог бы и это сказать, вместе с Данте, св. Иоанн Креста (Данте, 138).

Слепорожденный, прозрев, испытал бы такое удивление и такую радость, каких никто из людей не испытывал. Точно такое же удивление и такую же радость чувствует Иоанн Креста, когда, по выходе из Темной Ночи, его озаряет никем из людей никогда еще не виданное солнце нового Светлого Дня.

«Темная Ночь (Духа)... освобождает человека от всего обычного и глубокого познания, приобщает к столь от него отличному познанию божественному, что он сам не понимает, что с ним происходит, и кажется ему, что он сошел с ума», — вспоминает Иоанн Креста опять-таки не чужой, а свой собственный опыт. Все, что человек видит и слышит, хотя и осталось таким же, каким было всегда, вдруг делается новым для него, неизвестным, и так удивляет его, что он думает, не колдовство ли все это. Происходит же это потому, что человек перешел от обычного, естественного (человеческого) познания к божественному, свойственному тому миру более, чем этому» (Норм., 83). «Сестры и братия Кармеля

должны быть, как люди из другого мира» – эту заповедь Терезы исполнил Иоанн Креста (Baruzi, 217). «Жизнь его была такой небесной, что, казалось, он уже не был в теле», – вспоминает очевидец (Baruzi, 217).

Как относится Бог к твари и тварь к Богу – на этот вопрос дается ответ только здесь, в опыте «преисподнего блаженства», и этот ответ противоположен тому, который дан был в ответ «самоуничтожению», *annihilatio*. Здесь же преодолевается Иоанном Креста и буддийский уклон христианства. Мира он не отрицает, когда мир для него отражается уже не в мутном и искажающем зеркале чувственности, а в обожествленной душе (Baruzi, 406). Выйдя из Темной Ночи в Светлый День, человек видит мир новыми очами и возвращается в мир.

И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля уже миновали (Откр., 21, 1).

В «Новом познании», *una nueva noticia*, утверждает человек все, что отрицал в познании старом. Темная Ночь приводит человека не к бесконечной скорби, а к блаженству бесконечному, к радованию всему земному и небесному в совершенном познании и в совершенной свободе (Baruzi, 407, 604). Новую, невиданную красоту приобретают для человека все явления мира, и он любит их уже не в чувственных случайностях, а в их вечной сущности.

Так же как простые химические тела, оставаясь бесцветными и безвкусными, входят во все соединения – все цвета, вкусы и запахи, – дух, обнаженный от всего, соединяется с

Богом и, в новой чистоте своей, наслаждается всеми цветами, вкусами и благоуханиями (Baruzi, 607). «Дух расширяется так, что может радоваться всему и вкушать от всего, что наверху (на небе) и внизу (на земле)», – учит Иоанн Креста (Baruzi, 604). «Чувствует душа и понимает в Экстазе истину того... что говорит св. Франциск Ассизский: „Бог мой и вся тварь. Dios mio e todas las cosas“ (Baruzi, 643). „Кажется, тварь возвещает (человеку) Бога в себе, и это кажется высшей гармонией, una harmonia de musica subidissima“ (Baruzi, 643).

Ночь успокоения...
Безмолвная музыка,
Пустыня, полная гармонии.

La noche sosegada...
La música callada,
La soledad sonora, —

в этих стихах «Песни Духа», может быть, вспоминает Иоанн Креста свой собственный опыт «преисподнего блаженства» (Cántico, XVI. Baruzi, 639) так же, как в этих:

Радоваться будем, Возлюбленный,
Будем глядеться в Твою красоту
На пустынных горах и холмах,
Там, где быют родники;
В чашу леса войдем... (Cántico, XXXV. Bruno, 240)

К твари возвращаясь от Творца, душа понимает, что «ее Возлюбленный (Христос) и есть в Себе самом, и в ней, в душе, – вся тварь» (Baruzi, 542). «В Сыне увидев всю тварь, Бог облек ее в красоту» (Baruzi, 663). «Будет Твоя красота моей, *tu hermosura mesma sera mi hermosura*», – говорит человек Богу (Baruzi, 656). «Все твари тогда... открывают душе красоту свою, силу, очарование и первоисточник жизни своей... Видит душа, что все твари отличны от Бога, потому что сотворены; но видит и то, что все они заключены в Божественной Сущности... и лучше познает их в Ней, чем в них самих. В том-то и заключается великая радость этого Пробуждения, *Recuerdo*, что в нем душа познает уже Бога через тварь, а тварь через Бога, *conoser por Dios las criaturas*, у по *por las criaturas a Dios*, что значит познавать не причину через действие, а действие через причину; то познание – производное (низшее), а это – изначальное (высшее)», – заключает Иоанн Креста и этим объясняет, почему на вопрос, как относится Бог к твари, нужен был в религиозном опыте Самоуничтожения первый ответ отрицательный: «Бог есть все, а тварь – ничто», чтобы возможен был второй ответ положительный: «Бога возвещает вся тварь» (Noon, 244–245. Baruzi, 671).

«Бог открывает душе необычайную новизну этой Божественной жизни... и гармонию всех тварей в ней... Душа одновременно и то, что Бог есть в Себе, и то, что Он во всех

тварях. В эту минуту душа подобна человеку, входящему во дворец и видящему величие Того, Кто обитает в нем, и величие того, что Он делает... Бог снимает с души некоторые из тех покровов и завес, которые скрывают Его от нее, и видит она Его таким, каков Он есть: „как бы сквозь прозрачную темноту, – потому что все покровы никогда (в жизни земной) не снимаются, – видит душа кое-что из Лица Божия“ (Baruzi, 671). „Есть души, которые здесь еще, на земле, озарены бóльшим светом, чем ангелы на небе“ (Baruzi, 607).

Так все, что человеком потеряно в Темной Ночи «самоуничтожения», возвращается ему в Светлый День воскресения, по слову Господню: «Нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие... во сто крат более домов и братьев, и сестер и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной» (Мк., 10, 29–30).

Выйдя из Темной Ночи в Светлый День, человек вступает здесь, еще на земле, в Царство Божие, по этим непонятным и даже как бы вовсе не услышанным словам Господним:

Царство Божие достигло до вас – нашло на вас, – (Мт., 12, 28). Царство Божие не придет приметным образом, и не скажет: «Вот оно здесь» или: «Вот там». Ибо Царство Божие посреди вас (Лк., 17, 20–21). Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство

Божие, пришедшее в силе (Мк., 9, 1).

Это значит: Царство Божие не только будет некогда на небе, но оно уже и сейчас здесь, на земле. Вот почему одно из имен Экстаза – **Восхищение**, *arrobamiento*, *raptus*: только что человек выходит из Темной Ночи в Светлый День, как он «восхищается» из царства Человека и переносится заживо, «не вкушая смерти», в Царство Божие, «пришедшее в силе».

Это Царство Божие на земле, как на небе, у Иоанна Креста напоминает **Восстановление всего**, *apokatastasis pantôn*, у Оригена (II – III век): «Благость Божия, через посредство Иисуса Христа, вернет всю тварь к началу и концу единому... ибо все падшее может возвыситься от крайних ступеней зла к высшим – добра» («К.», 38 – Пролог, 61 – Св. Авг., 73 – Пролог, 38). Учит тому же и ап. Павел:

Будет Бог все во всем. *Theos panta en pasin* (1 Кор., 15, 27–28).

Через Темную Ночь проходят все люди, святые и грешные, одинаково. Но только святые через нее проходят вольно, в жизни, а остальные – невольно – в смерти. Но и они в последнюю минуту жизни выходят из Темной Ночи смерти в Светлый День воскресения: вот почему лица многих умерших так непонятно, так страшно и чудно светлеют от упавшего на них первого луча нездешнего света.

Великое солнце Светлого Дня есть «Живое Пламя любви», *Llama de amor viva*, в которой достигается высшая точка Экстаза, – то, что Иоанн Креста называет «совершенным соединением человека с Богом в любви», *consumada union de amor* (Bruno, 179). В этом соединении «душа совершенно преобразуется в своего Возлюбленного... (Христа)... Богом становится душа, в смысле приобщения к Богу, *participatio*» (Авг., 218). Здесь совершается то, что св. Тереза называет «бракосочетанием души человеческой с Богом» (Св. Т., 152).

Через св. Дионисия Ареопагита, который мог быть посвящен в Елизинские таинства, св. Иоанн Креста связан с религиозным опытом всего дохристианского человечества, с тем, что происходило во всех древних таинствах, от Египта и Вавилона до Елевзиса и Самофракии, – с Теогамией, Богосупружеством (Авг., 197).

Этот религиозный опыт Иоанна Креста совпадает с опытом Терезы так, что оба они говорят о нем почти одними и теми же словами.

«О, приди, приди! Я Тебя желаю, умираю и не могу умереть!» – говорит св. Тереза Возлюбленному своему, Христу (Св. Т., 131). «Душа не умирает, но чувствует смерть», – говорит св. Иоанн Креста (Авг., 201).

А, живое пламя Любви,
Как нежно ты ранишь сердце мое!
Кончи же ныне дело любви, —
Плоти разделяющую ткань прорви! (Ноогн., 17–18)

Этот «прорыв разделяющей ткани» и есть для Иоанна Креста и Терезы одинаковая «смерть от восторга любви и объятий Возлюбленного» (Св. Т., 260). «С этого дня ты будешь моею супругою; Я отныне не только Творец Твой, Бог, но и супруг» – эти слова слышит Тереза из уст Господних (Св. Т., 152). «О, Бог мой, Супруг мой, наконец-то я Тебя увижу!» – говорит она, умирая (Св. Т., 295). «О, Бог мой, Супруг мой, Ты отдавался мне доныне только отчасти; отдайся же теперь весь, – я хочу Тебя всего!» – эту мольбу души человеческой к Богу повторяет и св. Иоанн Креста, может быть, тоже накануне смерти (Авг., 200).

Брачное соединение человека с Богом, для Иоанна Креста, так же как для Терезы, есть нечто не только духовное, но духовное и плотское вместе, потому что это есть величайшее явление человеческой Личности, а Личность есть – весь человек с духом и плотью. Этого духовно-плотского соединения человека с Богом, может быть, никто, за двадцать веков христианства, не чувствовал с такою силою, как св. Иоанн Креста и св. Тереза.

«Разумом должно обуздывать эти исступленные порывы (любви к Богу), потому что в них может быть и *чувствен-*

ность». «В этом (брачном соединении души с Богом)... и *тело очень много участвует*», – говорит св. Тереза (Св. Т., 130). «Телу Бог ничего не дарует, чего бы раньше и в большей степени не даровал душе, и чем сильнее блаженство души, причиненное раной любви (к Богу), тем сильнее и муки тела от той же раны», – говорит св. Иоанн Креста. «И удивительно, в каком взаимном соответствии увеличивается и эта мука, и это блаженство» (Noogn., 177). «Переполняющее душу блаженство сообщается и телу: все чувства его, так же как все члены, участвуют в этом блаженстве, так что оно ощущается до крайних суставов рук и ног. Тело участвует в славе души так, что оно славит Бога по-своему, чувствуя блаженство в костях своих, по слову Давида: „Все кости мои скажут: Господи, кто подобен Тебе?“ И так как этого не могут выразить никакие слова, то довольно сказать, что тогда и телом, как душой, предвкушается вечная жизнь» (Noogn, 182).

«В ту минуту, когда вся душа воспламеняется любовью к Богу, чувствует она, что нападает на нее Серафим и уже раскаленную, как уголь, раскаляет докрасна, или, вернее, всю превращенную в пламя, пронзает ее копьем любви пламенеющим», – вспоминает Иоанн Креста и здесь, как везде, конечно, не чужой, а свой собственный религиозный опыт. «И навстречу пламени тому выкидывается другое пламя из души, как из печи, в которой мешают угли кочергой, чтобы усилить их жар. И боль от этой раны для души несказанное блаженство. Вся упоенная чудесной новизной яростного

Серафимова натиска, вся пламенеющая и изнемогающая от любви, чувствует она, что огненное острие копья вонзается в сердце ее». Тот же Серафим, то же копье, та же сладчайшая боль от раны, нанесенной копьем, здесь, у св. Иоанна Креста, как и в Пронзении, *Transverberatio*, св. Терезы (Св. Т., 136). «И когда рана эта достигает той внутреннейшей глубины души, где рождаются все наслаждения, то как найти слова, чтобы выразить то, что тогда происходит в душе? – продолжает вспоминать Иоанн Креста. – В этой внутреннейшей точке раны чувствует душа почти невидимое зернышко, подобное горчичному... извергающее в круговращении своем огонь все той же любви. И этот огонь разливается по всему составу души... разжигая любовь ее так, что кажется ей, что она заключает в себе моря блаженства, напоминающие всю бесконечность сверху донизу, и для нее тогда весь мир – только океан любви, в котором тонет она, не видя берегов... но чувствуя его живое средоточие в себе самой. Можно сказать об этом невыразимом блаженстве только одно: чувствует в нем душа, как верно евангельское уподобление Царства Небесного горчичному зерну, заключающему в малости своей такую силу, что из него вырастает великое дерево; так и душа преобразается в великое пламя любви, вспыхивающее из той малой, в душе пламенеющей точки» (Норн., 176–177).

«Почему же столь немногие достигают такого соединения с Богом? Все не потому, конечно, что Он хочет ограничить

милость свою только малым числом избранных душ; нет, Он хотел бы, чтобы в ней участвовали все, но слишком часто не находит достойных для нее сосудов. Легкие испытания посылает Он душе, а она слабеет, бежит от страдания, не хочет его принять, как бы ни было мало оно... и не имеет нужного терпения... Все такие души – никуда не годные сосуды. Люди хотят быть совершенными... но путем, ведущим к совершенству, идти не хотят... О, души, мечтающие о спокойных и утешительных духовных путях, если бы вы знали, как нужно вам страдать, чтобы достигнуть этого утешения и этого спокойствия; если бы вы знали, как это невозможно без страдания и как без него вы не искали бы никаких утешений ни в Боге, ни в твари, но предпочли бы им крест и, прилепляясь к нему, жаждали бы только чистой желчи и чистого уксуса. Все ваше блаженство было бы в них, и, умирая для мира и для себя, вы воскресали бы в Боге... Вот что значит:

О, нежная рука! О, тихое касанье!
В вас – вечной жизни сладость,
И вы вознаграждаете за все
И, убивая, делаете жизнью смерть» (Noorn, 184).

Религиозный опыт брачного соединения человека с Богом совершается уже не в христианстве, религии Двух – Отца и Сына, а в будущем – в религии Трех – Отца, Сына и Духа. Кажется, Иоанн Креста этого не знает, или не хочет знать, может быть, потому, что боится возможных из этого выводов для своего отношения к Римской Церкви. «Все, что я говорю, я отдаю на суд нашей Матери, Святой Римско-католической Церкви, потому что под ее водительством никто не может заблуждаться». «Наше учение не имеет ничего общего с ненавистным учением тех, кто движим сатанинской гордыней и завистью», – еретиков Иллюминатов (Noorn., X – XI). Если бы кто-нибудь сказал Иоанну Креста, что главный религиозный опыт его, Богосупружество, есть новое откровение, неизвестное в Римской Церкви, то он этому ужаснулся бы или не поверил бы, потому что думает, или хотел бы думать, что «не может быть никаких новых открытий, кроме тех, какие уже были в (Римской) Церкви, по hay mas articulos acerca la substancia de nuestra fe de que los que ya están revelados a la Iglesia» (Subida del Monte Carmel, 1. II, с. XXV. Baruzi, 529); он думает, или хочет думать, что «ждать от Бога новых откровений – значит требовать нового Христа, pedirme otra vez a Christo», на что Бог ответил бы слишком пытливой душе: «Он (Христос) есть все слово мое и весь

Мой ответ, все явление Мое и все откровение. *Él es toda mi locución y respuesta, y es toda mi visión y toda mi revelación*»; он думает, или хотел бы думать, что в Римской Церкви «все уже совершилось, *consumatum est*» (Baruzi, 573).

«В этом – в трудности или даже невозможности Реформы – должна быть какая-то глубокая тайна», – говорит св. Тереза (Bruno, 158). Может быть, «тайна» эта и заключается в том, что утверждает св. Иоанном Креста: «Новых откровений в Церкви уже не будет». Но если так, что же значит:

Многое еще имею возвестить вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Дух истины, то наставит вас на всякую истину... и будущее возвестит вам (Ио., 16, 12–13).

«Люди всех исповеданий идут к св. Иоанну Креста, и он говорит с ними на языке не только Римской, но и Вселенской Церкви... Дальше пошел он сам, чем куда вел других. Св. Иоанн Креста выходит за пределы христианства», – верно и глубоко говорит один из лучших знатоков св. Иоанна Креста (Baruzi, 230).

Если бывали минуты, когда он думал, что новых откровений больше не будет, то бывали и другие минуты, когда он предчувствовал, что *«многое и самое главное еще остается познать, углубляясь во Христа»* (Bruno, 38. Cántico, XXXVI) и что *мы преображаемся новым познанием, novas noticias* – откровением Троичного Бога (Baruzi, 658). «Я чувствую... душу мою всегда в лоне Пресвятой

Троицы. Yo... traigo siempre mi alma dentro de la Santísima Trinidad» (Baruzi, 284). В чудесном «поднятии на воздух», levitatio, вместе с Терезой, Иоанн Креста говорит с нею о «возлюбленной тайне своей» – божественной тайне Трех (Св. Т., 186–187). Только здесь, около Трех, подымается буря того Экстаза, чья высшая точка – Богосупружество. «Так ли невероятно, что душа человеческая совершает дело разума, познания и любви в Троице и вместе с Ним? – спрашивает Иоанн Креста и отвечает: – Все это Бог совершает в душе» (Baruzi, 657). С Духом Св. соединяется обожествленная душа так же, как с Отцом и Сыном. «Дух говорит (в душе человеческой) такими же воздыханиями неизреченными, как и в глубинах Божиих, en los profundos de Dios... Но об этом я не хочу говорить, потому, что если бы я об этом сказал, то оно было бы меньше того, что оно есть на самом деле» (Baruzi, 672). Это несказанное и есть Богосупружество, в котором «совершается такое внутреннее соединение Существа Божия с человеческим, что каждое из них как бы становится Богом, хотя ни то, ни другое не изменяет природы своей. Здесь, на земле, не может совершиться такое соединение во всей полноте, но оно все-таки выше всего, что ум человеческий может постигнуть» (Авг., 197).

От начала мира существовала сила электричества и сила радия, но людям силы эти не служили, пока не были ими открыты. Так же существовала с незапамятной древности та сила Экстаза, чья высшая точка – соприкосновение человека с Богом – была уже открыта в древних языческих таинствах и названа в них Теогамией, Богосупружеством. Почему же это открытие, послужив людям до первых веков христианства, потом забыто так, как будто никогда и не было сделано? Потому что люди принимают с величайшей легкостью и хранят в памяти дольше всего открытия не творческих, а разрушительных сил, особенно тех, которые служат войне. Так из всех «благодеей» христианской цивилизации принято было с наибольшей скоростью и распространено у всех, даже полудиких народов, изобретение пороха – этот главный шаг от войны-игры к настоящей войне.

Сделанный в древних таинствах и забытый к началу христианства религиозный опыт Богосупружества сделан был снова, через пятнадцать веков, св. Терезой Иисуса и св. Иоанном Креста, но почти тотчас же снова забыт, все по той же причине – слишком хорошей человеческой памяти на все открытия сил созидательных, служащих миру.

Есть и две другие причины этого забвения: первая – та, которую уже св. Тереза предчувствовала в Иоанне Креста:

«Я не знаю, по какому злому року никто никогда не вспомнит об этом святом». «Я испугана злым колдовством, которое окружает брата Иоанна Креста». Этим «злым колдовством» он погружен в черный колодец одиночества, подобный тому, в который упал в раннем детстве. «Он (всегда) один», по слову Терезы. Более или менее все великие люди одиноки и в славе неизвестны, а Иоанн Креста, как никто из них. «Неизвестный святой», так называют его современники, так же могли бы назвать его и потомки, особенно люди наших дней (Demim., 206).

Вторая причина этого забвения св. Иоанна Креста – страх, им внушаемый людям. «Там, в конце пути, он – страшный и весь окровавленный с сухими глазами», – говорит о нем добрый католик, Гюсманс, в XIX веке, почти с таким же страхом, как в XVI веке говорил инок Саламанкской обители, заведя издали подходившего к ним Иоанна Креста: «Братья, диавол, диавол идет, – уйдем поскорее» (Baguzi, 289).

Но сколько бы люди ни забывали о нем, вспомнят когда-нибудь, потому что сделанное им открытие людям слишком нужно. «Действие его до наших дней продолжается», – говорит Гёте о Лютере; это можно бы сказать и о св. Иоанне Креста (К., 44). Кажется, он и сам почувствовал, что люди вспомнят о нем. «Эта милость Божия – брачное соединение человека с Богом – посылается лишь очень немногим, призванным к тому, чтобы передать духовную силу свою ученикам, потому что Господь охотно посылает избранным во-

ждям своим эти сокровища и эту власть (над людьми), соответственно важности того учения... какое призваны они сообщить грядущим поколениям» (Нооп., 177). Судя по этим словам Иоанна Креста, он хорошо понимал, что сила Экстаза, чья высшая точка есть Богосупружество, – сила не только внутренняя, личная, движущая каждого человека в отдельности, но и внешняя, общественная, движущая целые народы, а может быть, и все человечество. Это понимала и св. Тереза, когда переключала силу Экстаза из порядка личного в порядок общественный, «социальный», как мы говорим: «Благо душе, познавшей истину в Боге (Экстаз). О, как необходимо это познание людям, стоящим у власти! Насколько оно должно быть дороже для них, чем обладание великими царствами! Какой порядок установился бы тогда в государстве и сколько бедствий было бы избегнуто... О, если бы я могла это сказать в лицо государям!» (Св. Т., 167). «Кто делает упорные усилия, чтобы взойти на вершину совершенства – ту вершину Экстаза, где происходит величайшее явление человеческой Личности в брачном соединении человека с Богом, – тот никогда не всходит на эту вершину один, но всегда ведет за собою, как доблестный вождь, бесчисленное воинство» (Св. Т, 186). Если в жизни своей, в настоящем, св. Иоанн Креста шел один, то, может быть, уже предчувствовал, что в будущем пойдет за ним «бесчисленное воинство».

Есть два Экстаза – один, божественный, творческий, а другой – демонический, разрушительный. Самый разрушительный – тот, который овладевает народами в войне: он подобен буйному помешательству или одержимости. Страшен помешанный или бесноватый человек, но насколько страшнее бесноватый народ!

Только Экстаз божественный, творческий, может победить разрушительный, демонический экстаз войны. Вот почему людям наших дней, одержимых волей к Безличности, кидающей бесчисленные человеческие жертвы в раскаленное чрево Молоха войны, нужнее, чем кому-либо, сделанное св. Иоанном Креста открытие той высшей точки Экстаза, в которой происходит величайшее явление человеческой Личности в Богосупружестве.

Не было Войны еще никогда: были только многие маленькие и частные войны. Первая и последняя, единственная Война самоистребления только в наши дни началась. Самая темная ночь из всех темных ночей, Гефсиманская ночь всего человечества, – эта Война. Но —

Как снится голодному, будто он ест, но пробуждается, и душа его голодна; и как жаждущему снится, будто он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет, – так будет и множеству

всех народов воюющих (Ис., 29, 8).

Так же неутолима и жажда Мира в Бесконечной Войне наших дней.

Мира не будет и после Войны, второй, третьей, четвертой и сколько бы их ни было; будет только перемирие перед новой злейшей войной – злейшим припадком безумного помешательства или бесноватости народов, потому что эти войны будут продолжением одной-единственной Войны.

А все-таки люди недаром ждут мира, как утра ждут те, кто бодрствует в ночи. «Сторож! сколько ночи? Сторож, сколько ночи?» Сторож отвечает: «Приближается утро, но еще ночь» (Ис., 21, 11–12).

Люди не выйдут из Темной Ночи войны в Светлый День мира, пока не поймут, что мир может им дать только Тот, Кто сказал:

Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как дает мир, Я даю вам (Ио., 14, 27).

Только в Светлый День мира люди поймут, что для них уже сделал и сделает еще св. Иоанн Креста.

1 января 1941